

Глава II

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТАЯЗЫКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

§ 1. Методологические модели метаязыка политической науки: тавтология, парадокс, нарратив

В этой главе мы предполагаем рассмотреть, как работают три ключевых метаязыка политической науки, особенно в описании такого ключевого политического феномена как власть. И как власть, в свою очередь описанная с помощью того или иного метаязыка, не только проявляет себя, но и влияет на язык своего описания.

Метаязыки рассматриваются нами как набор моделей теоретических языков о политике, для которых реальностью является политическая докса, вырастающая из непосредственного политического опыта, из политики как «системы действия».

Классический доминирующий дискурс в политической науке связан с тавтологическим метаязыком Просвещения. Однако дискурс современной политики старается активно внедряться и в символические (неидеологические) метаязыки. Здесь власть симулирует, вопреки традициям, и символичность, и противоречия, и оппозиционные парадигмы. Псевдосимволичность и противоречия, продуцируемые властью в дискурсе политической науки, укрепляют ее путем определения желаемой картины мира, ее внутренних разбивок на добро/зло, ложь/истину, тождество/различие.

Теоретический анализ политики (власти) в зависимости от модели исследовательского метаязыка может строиться по одной из следующих схем, которые мы выделяем, следуя концепции Н. Лумана¹. Внутри идеологического периода политики можно выделить два ключевых метаязыка политической науки.

¹ Луман Н. Парадокс и тавтология в самоописаниях современного общества // СОЦИО-ЛОГОС. М.: Прогресс, 1991. С. 194-219.

«Нечто есть то, что оно есть»

Структуру тавтологического метаязыка формируют тавтологизация, самоотождествленность и псевдодоказательность как способы самолегитимации власти, подчиняющей политику консервативному коду формализованного права. В рамках этого метаязыка описание политической действительности носит характер объективно развертывающейся реальности перед глазами наблюдателя. Метод описания, понятия, схемы интерпретации результатов не проблематизируются, поскольку исследование осуществляется путем установления эквивалентности слов и вещей универсального языка Просвещения. Тавтологический, «догматический» метаязык связан с принципом идеологии, в трактовке К. Манхейма, и призван методологически легитимировать господствующий в политике дискурс с позиций здравого смысла, доксы, путем ее симуляции. Его практические задачи обычно заключаются в том, чтобы «отбить охоту» у оппозиционных политически значимых сил заниматься критикой и рефлексией «естественного порядка вещей».

Подобной модели политологии, всячески подчеркивающей свою неангажированность и объективную незаинтересованность в ситуации столкновения реальных политических интересов, грозит постоянная опасность превратиться в отчужденную от реальной политики «науку для политологов». Политолог при этом стремится занять позицию профессионально нейтрального эксперта. Эта модель отвергает все «пред-рассудочное» и «до-верительное» как «проклятую сторону вещей» в пользу объективных критериев Разума как рационального рассудка. Этот метаязык исторически связан с «классической эпистемой» науки (М. Фуко).

«Нечто не есть то, что оно есть».

Парадоксализация переворачивает устоявшуюся логику политической доксы и здравого смысла, оставаясь в рамках этой логики. Вывод кода политики из морали и этики. Парадоксальный «критический» метаязык связан с принципом утопии, в трактовке К. Манхейма, т.е. с интересами восходящего субъекта власти и

взрывом сложившегося порядка вещей, который политическая докса привыкла воспринимать как «естественный». Этот метаязык сверхрефлексивен и подозрителен, открывая в самоочевидности «второе дно», «проклятую сторону вещей», когда вдруг становится ясным, что «общепризнанные» ценности являются функциями чьих-то политических интересов. Исследование обычно подразумевает объективацию как методов и инструментов, так и последующую «объективацию объективирующего субъекта», т.е. субъективности самого исследователя.

Критическая модель политической науки ориентирована, прежде всего, на ценности, субъективное, язык, рефлексию, направлена на «надстройку». Эта модель политологии постоянно «взвешивает цену» тех или иных ценностей. Ее целью служит выработка идеала этического ценностно-рационального поведения политического субъекта. Парадоксальный метаязык исторически и методологически связан с социальной и эпистемологической критикой, представленной неомарксизмом, фрейдизмом, ницшеанством, Франкфуртской школой, герменевтикой и т.д.

При таком подходе объективность описания осмысливается как политически ангажированная критика. Политическая наука предстает как знание, вовлеченное в рассматриваемые процессы. Исследователь предстает всегда и как идеолог, один из субъектов политического действия. Отсюда осознание неизбежной вовлеченности (ангажированности) исследователя-идеолога в то, что он описывает, и сознание иллюзорности нейтрального политического наблюдения и автономного познания политики, свободного от выбора ценностей. Применяя любые методы описания, мы уже не можем быть отстраненными от реальности, превращаемся в одного из ее рядовых наблюдателей. Следовательно, политика начинает требовать от теоретика, чтобы он определил свое место в реальном пространстве политики, в котором происходит столкновение реальных политических интересов и позиций. А, соответственно, даже их простое описание не может не быть полемичным.

Особо подчеркивается, что в реальности осмысление методологических основ исследования и поиск контраргументации теории всегда идут параллельно. Здесь действует скорее логика принципа до-

полнительности, нежели синтеза. Самое важное состоит в том, насколько хорошо исследователь сознает свою точку отсчета, тот «идеальный» методологический тип, который он берет за основу своей теории, сознавая при этом все достоинства и недостатки избранного метода. Поэтому в эпистемологическом поле политологии нельзя занять объективной теоретической позиции «над схваткой». Речь может идти только о наивном или намеренном сознании/несознании исследователем своей теоретико-методологической, ценностной ангажированности, которая находится в тесной корреляции с отношением исследователя к власти, в виде ее апологии/оппозиции.

Именно здесь проходит методологический разрыв между «метаязыком власти», легитимирующим власть попытками занятия над- и внеполитической позиции, с его парадигмами, выстроенными по образу и подобию естественных и точных наук, и «метаязыком о власти», где начальным условием политической мысли служит определение той точки в пространстве идеологических координат, из которой будет проистекать голос этой мысли. Здесь политическое знание приобретает амбивалентную форму. Оно мыслится не только как поиск истины, но и как реальный политический инструмент господства. Наоборот, объективирующий и отчуждающий тавтологический метаязык политического исследователя свое место в идеологическом пространстве тщательно скрывает, часто и от самого исследователя, так как представляет собой голос власти.

Обе эти схемы исследований политического, будучи соотносены с принципами логически вытекающей из них политической практики, легко накладываются на логику идеологии и логику утопии, в том смысле, который придавал им Манхейм. Но есть и третья модель политологического метаязыка, связанная с декларацией «конца политического» как идеологического.

«Нечто есть то, что оно есть, и есть то, что оно не есть, или, иными словами, есть и то и другое, не будучи ни тем, ни другим»

Отсюда вырастает политический метаязык Постмодерна, связанный с мифологической логикой подобия и смежности, нередуцируемой к универсальным критериям множественностью соци-

альных миров и адекватных им политических истин, кризисом универсальности классического идеологического метаязыка политической науки.

Интенцией первых двух подходов является ответ на вопрос: «Что такое политика (власть)?» Оба подхода пытаются дать субстанциональное определение феномену власти, т.е. привязать власть к некоему первоначалу и отождествить с ним любое возможное представление о ней. Ответ в форме «власть – это...» собственно и являет собой дискурс власти, попытку путем тавтологии или самокритики создать нормативное представление о себе. Подобный «властный» ответ представляет, на самом деле, описание того, как власть хотела бы выглядеть. Здесь трудно отграничить собственно политическую науку от идеологии как формы осуществления политики. Третий подход по сути своей функционален, интересуясь, прежде всего, вопросом: «Как власть функционирует?» И вопрос подобного рода возникает именно тогда, когда наблюдается фундаментальная исчерпанность легитимирующих власть концепций, а сама власть становится полностью прозрачной и в силу этого неестественной.

Первый – тавтологический метаязык политической науки нацелен на измерение объективного содержания политики, опираясь в массе своей на позитивную, эмпирическую методологию. Объективность знания истины достигается за счет исключения из рассмотрения всего субъективного. В эту область непознаваемого попадают сознание, этика, мораль, культурная традиция, идеалы, символы, ценности. В теории познания наблюдается отождествление критериев необходимого и общезначимого. Само по себе это отождествление идеологично и связано, как показывает К. Манхейм, с утверждением буржуазного дискурса в котором «законными могли считаться лишь те типы познания, которые обращались к тому, что составляет общечеловеческие стороны нашей натуры»¹.

В рамках цивилизационной парадигмы западной культуры такое требование еще могло быть уместным. Но процесс актуальной политической «глокализации» показал всю пропасть несходст-

¹ Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. М.: Юрист. С. 143.

ва между разными культурами и идеологическими универсалиями. Оказалось, что не существует универсальных общечеловеческих ценностей, несмотря на то, что культурологические аргументы в политике приобрели невиданную доселе значимость. Поэтому установка на выделение некоего слоя политических ценностей, которые были бы присущи всем людям, вне зависимости от культурных различий, и которые поддавались бы доступной и однозначной для всех интерпретации, формализации, систематизации и квантификации, была, с одной стороны, идеологической иллюзией подобной теории познания, с другой – панкультурным вызовом политической власти, претендующей на глобальность.

К. Манхейм, анализируя онтологические корни такой интеллектуальной позиции, связывает ее, в области теории политики, с позитивистским мировоззрением, присущем становящейся буржуазии. Именно либерализм, ориентированный на универсальные рецепты от имени абстрактного разума, создал современный концепт демократии, «основанный на естественных правах, парламентских институтах, избирательных процессах». Все, что в начале было лишь инструментом борьбы за власть, трансформировалось по достижении власти буржуазией в идеальную модель политики, когда буржуазный либерализм из утопического проекта стал господствующей идеологией, где все споры, в силу ее универсальности, возможны только внутри данного политического дискурса, аксиомы которого не могут подвергаться сомнению.

Второй – парадоксальный метаязык исходит из примата исследования субъективного содержания политики, будучи тесно связан с проблематикой политической философии, этики и герменевтики. Здесь отвергается сама возможность занятия исследовательской позиции всеобщего и внеисторического субъекта. Наоборот, демонстрируется, что истина всегда обусловлена положением субъекта внутри исторического социально-политического пространства: «есть истины, правильные точки зрения, доступные лишь определенному складу ума, определенному типу сообщества или определенной направленности волевых импульсов»¹. Поэтому

¹ Манхейм К. Идеология и утопия. С. 143.

субъективно-оценочный элемент политического знания не может быть устранен никогда в принципе. Попытка же скрыть подобную специфику политического знания, определить политическую действительность как пространство действия постоянных и неизменных закономерностей осуществима лишь в состоянии «ложного сознания».

В радикальном варианте парадоксального метаязыка политические теории и парадигмы перестают быть самоценными и достаточными для знания истины, т.е. рассматриваются только как производные от идеологий. Поскольку политическая теория обусловлена в том числе и положением автора внутри социума, этот факт не может не отразиться на принципах ее изложения. Соответственно, изолированное академическое рассмотрение политической теории с точки зрения автономного кода истины, вне связи с политической практикой, оказывается невозможным. Субъективность, габитус автора становится неотъемлемым элементом теории. Более того, содержание научных трудов, при радикальной постановке вопроса, становится определяемым в поисках критической теории даже не самим автором, а теми силами и контекстами, что стоят за ним. Автор превращается лишь в своего рода «камертон» или «медиатор» этих сил. Отсюда и популярные постструктуралистские концепции «смерти» автора как субъекта своего письма.

Подытожить методологическую разницу тавтологического и критического метаязыков, описывающих непосредственно данное политическое бытие, можно с помощью проведения между ними границы, которую в свое время провел К. Манхейм между «наивной» и «критической» теориями познания, исходящими из опыта бытия¹. Первый метаязык догматичен. Он занимается исследованием объективных политических структур, функций, отношений, институтов, т.е. всего того, что поддается объективации и процедурам традиционной научной формализации и верификации. Этот подход наивен в том смысле, что политическое бытие предстает в нем как

¹ Манхейм К. Структурный анализ эпистемологии. Специализированная информация по общеакадемической программе: «Человек, наука, общество: комплексные исследования». М.: ИНИОН РАН, 1992. С. 14-16.

вечное и неизменное, как природа. Отсюда возникают методологические натяжки, связанные с культурологическим универсализмом и аисторизмом.

Второй метаязык – критический, «ангажированный» (букв. «вовлеченный») стремится к интерпретации субъективного содержания политики, поскольку политический смысл принадлежит каким-то структурам и событиям не самим по себе, но приписывается им участниками и наблюдателями. Иными словами, здесь всегда рефлексирована собственная неизбежная включенность в политические отношения, невозможность нейтральности и отстранения, а следовательно, и беспристрастности. В данном случае ангажированность представляет собой лишь сознание неизбежной субъективности политического исследования, попытки «преодоления» которой в социально-политических науках могут свидетельствовать лишь о «дополнительных задачах» автора, связанных, например, с легитимацией властного дискурса. Политическое поле предстает перед познающим субъектом в парадоксальном метаязыке не «какое есть на самом деле», а прежде всего, как осознаваемое этим субъектом. Причем само «осознавание», наблюдение и измерение теоретическим субъектом познания тех или иных политических объектов, их характеристик и свойств, собственно, их не подтверждает, а именно задает.

Политическая теория – мыслительная «объективация» политики как предмета, фактически представляет собой ее социально-символическое конструирование, перевод из мира вещного в символический мир языка осмысляющего субъекта, т.е. одновременно и «субъективацию» политики. Так или иначе объясняя, интерпретируя политику, мы только впервые «на самом деле» ее и создаем, когда она появляется в пространстве представления политической теории. Метаязык, в свою очередь, одновременно «объективирует» уже саму политическую теорию и субъективирует ее, отвечая на вопросы «как» и «почему именно таким образом» определенная политическая теория (политический субъект) интерпретирует политику.

Измерение-описание фиксирует объект в его данности, которая вовсе не предшествует теоретически измерению как неизмен-

ная, но на самом деле только и задается в его ходе. Перенос акцента познания с аксиомы о неизменном объекте на метод описания открывает множественность, многомерность и альтернативность политических миров, конструируемых исследователями в ходе фиксации и интерпретации своих наблюдений.

Наоборот, внеценностные, нерефлексивные, бессубъектные теории связаны с принципами тавтологического метаязыка политики. Они исходят из императива формальной универсальности политической теории, а не ценностных основ социокультурной матрицы символов и смыслов данного политико-исторического сообщества. В конечном итоге, они провоцируют мыслительную ситуацию, когда политические теории перестают выводить политические отношения из культурного означаемого **данного** общества. Соответственно, данное общество онтологически приобретает исключительный или патологический характер, который не может быть основанием нормальной/нормативной политической теории.

Прескрипционность объективистских политологических работ направлена на завоевание собственного символического капитала в идейном пространстве политики (власти), на поддержание научного статуса политической науки в реестре общепризнанных, ведь «наука – это то, что преподается»¹. Однако то, что преподается, должно быть бесспорным и свободным от сомнений, т.е. надежно установленным. Поэтому в отечественной политологии популярен «наивный» объективистский подход, стремящийся очертить устойчивое, неизменное поле политики и соответствующий ему круг политических истин, закрепить свое эксклюзивное право на анализ политического среза реальности, как право на трансляцию научного знания о нем.

Построение, по крайней мере внешне непротиворечивой системы политического знания, ведет к крену в сторону фактов и явлений, удовлетворяющих критериям объективной верификации при игнорировании субъективного (идеального) содержания политики, предполагающего возможности альтернативных интерпретации. Однако нахождение основания познания, которое позволило

¹ Барт Р. От науки к литературе // Избранные работы. С. 375.

бы объединить в своей структуре объективное и субъективное, представляется практически невозможным, а предлагаемые решения – неудовлетворительными¹.

Тавтологический метаязык политической науки имеет дело только с отчужденными, наличными структурами политики и историческими формами, в которых она воплощается вовне и с которыми, в конечном счете, отождествляется. Однако, на наш взгляд, политика, во-первых, не всегда тождественна тем структурам, институтам, функциям, посредством которых ее определяют, во-вторых, политика имманентна собственным проявлениям, которые не всегда улавливаются объективными структурами, распределением формальных полномочий, должностями и структурированными институциональными взаимодействиями. Объективистский подход, связанный с описанием фактов и объектов, не способен уловить политические коннотации, иногда в корне меняющие смысл политического факта.

Тавтологический дискурс являет собой, прежде всего, саморепрезентацию власти в политической науке. Но детерминированность властью становится очевидной лишь тогда, когда объективный политический дискурс сам становится предметом исследования другого дискурса.

В то же время критическое (парадоксальное) опровержение главных принципов тотального и непротиворечивого дискурса знания-власти изнутри – невозможно, а дискредитация извне этот дискурс просто элиминирует. Таким образом, эпистемологический маятник от формализации к интерпретации не останавливается никогда, так как выражает фундаментальную политико-методологическую дилемму в основании политической науки.

Отсюда следует закономерный вывод о том, что средством преодоления методологических издержек знакового метаязыка является переориентация политической науки с тавтологического метаязыка на критическую рефлексию и сознание субъекта, т.е. все те основания, из которых вырастает аутентичный данному социо-

¹ См. напр.: *Соловьев А.И.* Политическая идеология: логика исторической эволюции // ПОЛИС. 2001. № 2. С. 8-23.

культурному полю и рефлексивно его описывающий, критический по своей структуре метаязык.

Выясняя условия самой возможности политической власти, тавтологический метаязык политической науки «опредмечивает» власть, т.е. имеет дело с властью как данностью, наличием, предметом, что предполагает рассмотрение уже имеющихся политических форм. Политический субъект здесь становится, с одной стороны, властным, следуя структуре власти, заложенной в тавтологическом метаязыке, с другой – он в то же время превращается в объект власти языковой структуры, проговаривающей свое содержание через него, так как язык никогда не принадлежит полностью тому, кто его использует.

Парадоксальный метаязык, наоборот, «дематериализует» политику, стремится выявить власть в виде концептуальной матрицы, которая организует политическое поле и как реальность, систему действия, и как пространство теоретических представлений.

Таким образом, из описанных выше структурных аксиом познания следует взаимосвязь между «самоочевидностью» политических истин и тавтологическим метаязыком, с одной стороны, и корреляция между непознаваемостью и «герметичностью» политики и критическим метаязыком – с другой.

Тавтологический метаязык

Тавтологический метаязык исторически лежит в основе всего проекта современной политической науки. Он методологически обусловлен приходом политики в идеологическое состояние, связанное с распадом традиционного общества и появлением конкурирующих за власть социальных групп, классов, элит и масс и т.д. В Европе этот процесс был связан с Реформацией, Просвещением и восхождением к власти буржуазии. Сегодня глобализированный политический процесс модернизации тесно переплетается с политическим дискурсом евроцентризма, «панлогизмом» и констатацией «конца истории».

Проблема генезиса и построения тавтологического метаязыка связана с тем, как и с помощью каких идеологем легитимируется

политическая власть на определенном историческом этапе. Когда Платон или Аристотель устанавливают законы «политического общения» в исторических или идеальных политических общностях, они еще не задаются вопросом о сущности власти. Власть выступает как атрибут или свойство общественной организации, совокупность правил, система должностей, порядок их формирования, распределения или замещения. Власть еще не отчуждается от конкретных людей, как что-то субстанциональное, стоящее за конкретными субъектами. Власть могла легитимизироваться народом или богом, но она еще не рассматривалась отдельно как таковая, безотносительно к своим означаемым формам. Власть здесь еще не отчуждена от субъекта: вождь, тиран, чиновник, патриарх, глава семьи, более того, она составляет собой его атрибут, естественное свойство властвовать. В органическом обществе – аграрном или сословном – вопросы власти сводятся к техническим вопросам, так как власть дана слишком явно, т.е. ее естественность обеспечена всем мироустройством общества, всей целостностью его традиций, ценностей, представлений. Таким образом, власть рассматривается как свойство политического субъекта, характер которого во многом определяем политическим режимом.

Действительной и необходимой проблема оправдания власти через код научной истины стала в период буржуазных революций, в процессе перехода политического состояния общества от традиционного (религиозного) к секулярному, гражданскому (идеологическому). Важнейшим моментом стал раскол традиционного общества на антагонистические классы, каждый из которых обладает своей интерпретацией политики, справедливости, общества, политических ценностей, целей, социального блага, приписываемой обществу в целом.

Смена традиционного общества капиталистическим, буржуазные революции, утверждение ценностей и норм Просвещения впервые так отчетливо показали, **как** политическая власть осуществляется изнутри, как работают ее механизмы и сколь они важны в условиях их холостого хода, т.е. в тот исторический момент, когда старые структуры сломаны, а новой субстанциональности и легитимности власти еще не возникло. Конкуренция разных моде-

лей политических метаязыков и стоящих за ними социальных сил, замещение и вытеснение одних форм оправдания власти другими только и могли обозначить «изнанку» власти. Отсюда же берут начало просвещенческие трактаты о роли власти в различных системах политического устройства (с указанием на идеальный строй), археологии «естественных состояний» и роли власти в их «цивильном» преображении – как позитивной (Гоббс), так и негативной (Локк, Руссо), рассуждения о «духе народов» и способах его политического воплощения (Монтескье) и т. д.

Идеологии, производные от тавтологического метаязыка политики, возникают в связи с автономизацией политического поля от трансцендентного универсума моральных ценностей. Впервые такую ситуацию описал в своих «политических руководствах» Н. Макиавелли. Затем ее воспроизводили в своих работах сторонники «естественного договора» (Гоббс, Локк, Руссо). Здесь впервые легитимируется вывод социально-политического устройства общества не из сакрального (божественного) порядка, характерного для традиционного общества, а из природного (биологического), т.е. нового «естественного» социального порядка. Разница между биологическим миром природы и культурным миром общества стирается в позитивном ключе: культура описывается как продолжение природы, а природа (доксический концепт «естественности») служит основанием легитимности, «подгоняется» под сложившееся политическое состояние.

В наиболее радикальном виде эта теоретическая установка разрабатывалась идеологами нового властного класса – буржуазии. Ее интерпретация политики представлена мальтузианством, социал-дарвинистами и либертаристами, хотя впервые человека как «политическое животное» определял еще Аристотель. Здесь приветствуется перенос естественных законов природы на общество и политику. Подобный «естественнонаучный» подход в политической науке, где парадигмы описания общества и человека заимствуются в парадигмах и моделях естественных и точных наук, которые «ближе к природе»: физики, механики, биологии, экономики, – является следствием того, что тавтологический ме-

таязык является метаязыком, претендующим на объективность и неизменность.

Тавтологичность политического дискурса состоит в производстве описывающих политическое поле теорий как вырастающих из самой природы вещей, таких, какие они есть «на самом деле». Тавтологический метаязык представляет себя следствием, простым упорядочением и систематизацией самоочевидных, док-сических вещей-фактов, которые докса (общественное мнение) воспринимает впоследствии как естественные, а не наоборот. Хотя действительная причинно-следственная цепочка обратна: господствующая политическая идеология детерминирует доксу. Построение, по крайней мере, логически непротиворечивой системы политического знания ведет здесь к крену в сторону фактов и явлений, удовлетворяющих критериям объективной верификации при игнорировании субъективного (идеального) содержания политики, требующего неподвластной объективным наукам интерпретации и верификации.

Политика в данном случае понималась, прежде всего, как механизм обеспечения частной свободы, часто отождествляемой с обеспечением политических прав гражданина вообще. Первоначально идея свободы вышла на первый план в негативном виде, как отрицание аристократических устоев, как свобода от Ancien régime с его четкой сословной иерархией, наследственной легитимностью власти и закреплённой сеткой социальных ролей с практически отсутствующей горизонтальной и вертикальной социальной мобильностью. Момент, когда сословная структура сломана, а классовая еще не устоялась, порождал утопическую социальную иллюзию равенства в свободе, «в гражданском обществе», позже разрушенную различного рода политическими цензами: буржуазия уже не нуждалась в политических союзниках.

Проект Просвещения изменил культурную матрицу власти. Политика пришла в идеологическую фазу, где парадигма легитимности власти опирается уже не на порядок божественного, но на порядок рационального, а сущность рационального заключалась в науке. Либерализм, позитивизм, демократия, естественные права, гражданское общество, конкуренция — легитимирующие новый

буржуазный порядок понятия, разрабатываемые Локком, Гоббсом, Руссо, Кантом, а позже Спенсером, Контом, Мальтусом, Дарвином, стали ничем иным, как основаниями новой парадигмы политической науки и новой модели энкратического метаязыка.

Но главный вклад в тавтологическую, уходящую корнями в Просвещение теорию власти внесли Энциклопедисты, разработавшие модель универсального научного метаязыка, отождествляющего в структуре знака слова и вещи. Этот метаязык представляет собой не просто новый принцип вывода научной истины. Он не оставляет места для спора и диалога, он тотален и непротиворечив, внутри него не может быть места для сомнений, а то, что проговаривается помимо него, – не соответствует новым требованиям научной познаваемости, относится к области «научно непознаваемого».

Это метаязык универсальных таблиц, классификаций, систем, структур и моделей. Нормативная методология заимствуется в естественных науках (физика, биология, археология), а позже и в точных (математика, экономика, кибернетика, теория систем). Этот язык исчерпывает политическое бытие. После него больше нечего сказать, поскольку все классифицировано и расставлено по своим местам. Возражение ему является бунтом против самого здравого смысла. То есть структура тавтологического метаязыка отождествляется со структурой научного суждения как такового. Аксиомы и логика любых альтернативных рассуждений изначально классифицируются как «вненаучные». Природа человека больше не является загадкой и определяется тем, что человек является носителем разума как критерия истины. Причем разум, в свою очередь, отождествляется с моделью здравого смысла буржуазии и «универсальной» логикой капитала.

Главной сверхзадачей, стоявшей перед исследователями, было получение объективной политической истины. Для сохранения объективности предлагалось устранить субъективность сознания, что достигалось путем изучения реального через рациональное (логика тождественного) без всяких отсылок к трансцендентному (мораль, ценности, традиции), не предполагающего никаких критериев своей объективной верификации. Следовательно, для получения объективного знания о политике требовалось изучать политические

явления как вещи, которые Кант называл феноменами, отбросив любые метафизические основания и моральные ценности. Критериями истины были объявлены самоочевидность и эмпирическая проверяемость. Максимальное отстранение политологов от политической реальности, дабы не дать повода к обвинению в политической ангажированности, привело к оперированию предельно абстрактными моделями политического. Отсюда их предельная упрощенность и обобщенность в стремлении к универсальности формализованных, нормативно-классификаторских схем, отождествляемых с политической действительностью. Следовательно, чем больше возможных случаев и явлений укладывается в схему, тем она объективней, ближе к истине.

Итак, что же можно познавать объективно? Тавтологический метаязык доказывает, что не сознание, не абсолют и не ценности. В основе метода лежит обычно отождествление природных законов и законов социальных. В итоге получается, что измерить, пронаблюдать и объективно оценить мы можем лишь внешние формы активности человека: слова, поступки, реакции и т.д. Судить о мыслях, чувствах и ценностях человека научно (объективно) можно только опосредованно, т.е. по их доступным наблюдению проявлениям. Попытки работать с сознанием напрямую расцениваются здесь как изначально ненаучные: субъективные и не соответствующие критерию достоверности.

Подобные аисторические схемы тавтологического метаязыка, удовлетворительно описывающие политическую действительность, в качестве главного допущения выдвигают ее стабильность, неизменность, детерминированность и предсказуемость. Таким образом, предлагаемые модели вольно или невольно начинают играть на руку сложившимся ценностям и господствующим политическим идеологиям, консервируя статус кво власти. Дело в том, что, изначально заявляя в качестве аксиомы познания «свободу от ценностей», тавтологическая модель метаязыка тем самым лишь воспринимает доминирующую систему политических ценностей как естественную, настолько прозрачно-очевидную, что ее как бы и не существует, как и самой проблемы ценностного выбора, и ангажиро-

ванности политического знания. Именно опора на преобладающую систему ценностей позволяет не замечать ценностей вообще. Поэтому тавтологический метаязык описания объективно является описанием общества с точки зрения властного субъекта, элиты.

По той же причине для тавтологического метаязыка характерно отождествление политики и управления, как функции действующей исполнительной власти. Поэтому энкратические политические теории объективно подчинены коду власти. Из их методологических принципов вытекает лояльность и оправдание действующей политической власти, сложившихся систем ценностей, а также неспособность выйти за ее пределы, даже для сравнительного анализа, поскольку последний предполагает изначально отвергнутые ценностные оценки. Данные теории практически неспособны выполнять прогностическую функцию, так как не принимают в расчет влияния, изменения и развитие, т.е. историческую динамику политической системы, которая предстает лишь как смена статических картин и состояний, причины которой остаются загадочными. Таким образом, мы имеем дело с тавтологическим метаязыком власти в политической науке, который Г. Маркузе очень точно охарактеризовал как «герметизацию универсума политического дискурса»¹.

Поясним стиль мышления и методологию тавтологического метаязыка политической науки на примере ее ключевого субъектобъекта – власти. Возникающие на почве приведенных выше принципов концепции власти укладываются, как правило, в рамки одного из двух подходов: реляционного или системного.

Реляционный подход рассматривает власть как отношение, обычно асимметричное, двух и более субъектов, как правило, в форме обмена. Обмен в свою очередь предполагает наличие властных ресурсов. Степень их контроля субъектами может быть разной: владение, распределение, управление, влияние и т.п. Согласно этому подходу власть возникает в ходе превращения ресурсов власти во властное влияние, собственно эта трансформация и является властью. Иными словами, качественное определение власти здесь отсутствует, поскольку власть сама по себе представляет, как и

¹ Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.

сознание, «черный ящик», судить о содержании которого мы можем лишь по объективным проявлениям, в данном случае – переходу ресурсов во влияние и результатам этого влияния. Поэтому количественные определения власти отражают власть не саму по себе, но опосредованно, через явления, феномены и условия власти, где признаком последней служит характер тех или иных действий субъектов (взаимодействий), та или иная ситуация, процесс или трансформация, например, одного ресурса в другой, непременным условием исполнимости которого служит власть.

Системные теории видят власть как свойство или элемент некой структуры надындивидуального, коллективного характера, выполняющий интегративную функцию. Здесь власть предстает уже как свойство самой системности. И налицо противостояние, с одной стороны, бихевиористского номинализма, в духе которого выдержаны реляционные концепции, с другой – структурно-функционального холизма системных теорий, провозглашающего приоритет и доминирование общественных структур и функций над отдельными индивидами, чья совокупная деятельность и составляет их содержание.

Иными словами, власть социальна, она атрибут общества, а не составляющих его индивидов, в руках которых она может оказаться лишь опосредованно, с санкции общества. Социальный характер власти выступает как необходимое условие ее легитимации. Власть отождествляется с наличными историческими формами и структурами, в которых она дана здесь и сейчас. Таким образом, получается уже не кибернетическая, но системная статическая картина властного распределения. Обе властные стратегии познания пытаются с помощью формализованного подхода, оперирующего универсальными знаками, придать статус вечности историческому модусу власти через сведение власти вообще к имманентной политической действительности.

Схемы и концепции, иллюстрирующие власть, оказываются помимо воли их создателей пронизаны властью: с одной стороны, действующей властью, заключающей в них свои интересы и ценности, с другой – властью как стремлением установить контроль над действительностью через монополию представления о ней,

связывающую это представление с объективной действительностью посредством структуры знака. Здесь знание-власть обращается в непримиримость к истине «иног», когда дух научности сменяется идеологией, связанной уже не с отстаиванием определенной системы ценностей в пространстве субъективных точек зрения, но с ее навязыванием в качестве единственно возможной объективности политического представления. Так власть проговаривает себя в теории власти.

Типичный образец подобного властного анализа предлагает В.Г. Ледяев¹, который, следуя традиции Р. Даля, определяет власть как «способность субъекта обеспечить подчинение объекта в соответствии со своими намерениями»². Власть, по мнению исследователя, предстает как один из видов каузальной связи, существующий только в человеческом обществе. Животные и неодушевленные предметы не могут рассматриваться ни как объекты, ни как субъекты власти, являющейся атрибутом и отличительной чертой человека в его отношении к другим людям, их сознанию и поведению. Власть также всегда осознана, персонифицирована (в отличие от влияния), направлена на кого-то. При этом результат властного воздействия ограничен подчинением объекта воле субъекта.

Сетую на то, что в трудах, посвященных анализу власти, она превращается в нечто аморфное и неопределенное, Ледяев пишет, что «власть» стала практически неотличимой от «влияния», «принуждения», «управления», «силы», «господства», «авторитета», «контроля», «дисциплины» и др. Между тем «перечисленные понятия призваны отражать различные формы социальных связей и виды зависимости человека от тех или иных общественных факторов – других людей, правовых и моральных норм, обстоятельств, идеологической среды и т. д.»³. Иными словами, власть превращается в какой-то абстрактный концепт, отражающий столь общее субъект-объектное отношение, что оно, фактически, вопреки воле автора, подразумевает все те синони-

¹ Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // ПОЛИС, 2000. № 1-2.

² Там же. № 1. С. 106.

³ Там же. С. 97.

*мы, которые он столь упорно пытается исключить. В конце концов, сам автор вынужден признать, что «авторитет, манипуляция, принуждение и некоторые способы воздействия субъекта на объект, ведущие к подчинению последнего воле субъекта, должны рассматриваться как **формы власти**»¹.*

Первоначально в области политической теории господствовал именно тавтологический метаязык, основанный на методологии «классической эпистемы» Просвещения. Здесь еще нет конкуренции элит, сама элита как единственный значимый теоретический субъект познания монолитна, а движения внутри нее не угрожают публичным открытием неких скрытых властных механизмов. Политика еще не пришла в «классовое» состояние, оставаясь внутренним делом элиты. Поэтому не было и речи о том, что такое власть, как она функционирует, – все эти вопросы были очевидны в пределах здравого смысла, т.е. слишком ясны, слишком легальны, чтобы стать проблемой. Власть полностью отождествлялась со своими наличными структурами. Поэтому единственным вопросом о власти мог быть вопрос о том, как сделать функционирование данной власти еще более эффективным. При этом проблематизация означающих форм власти, идеологии была своего рода табу. Причем умолчание было отнюдь не запретительным. Слишком едино было видение политики и матрица принципиальных ценностей, чтобы политические споры о них могли выйти на принципиальный уровень.

Критический (парадоксальный) метаязык политической науки

Его появление связано с изменением взгляда на политику в целом. Катализаторами стали: резкое изменение социальной структуры, типов коммуникации и связей, массовизация общества, глобализация-локализация политики, эффективность иррационально-символической легитимации политики: фашизм, нацизм, коммунизм и современная практика демократического популизма. Не могло остаться незамеченным нарастающее влияние на политику

¹ Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. С. 106-107.

таких факторов, как, например, развитие электронных СМИ. Политика перестает казаться управлением как внутренним делом элиты, действующей по заданному рациональному стереотипу. Осознается исторический характер этих стереотипов. Политика предстает как деbüroкратизированный процесс, осью которого становится вариативность деятельности, возможность изменения правил игры и установления новых идеологем. Политика становится игрой с открытым финалом. С другой стороны, политика как столкновение различных социальных сил и интересов и не может, по определению, стать управляемой полностью, поскольку, и это хорошо иллюстрирует марксистская логика, окончательная победа одной из сил одновременно является и концом политики в подобной трактовке, концом политического.

Априорные аксиологические предпосылки парадоксального метаязыка состоят в том, что политическая наука и теоретическая критика всегда ангажированы и только в силу этого – истинны (действительны). Иными словами, значимый теоретически субъект (автор) не существует без действующего политически значимого субъекта, с позиций которого он осуществляет рефлексию ценностей, политического поля, идеалов и т.д. Это может быть как социальный слой, класс, народ, так и единичный властный субъект, но с делегированными полномочиями от коллективного субъекта, которого он представляет в рамках теорий общественного договора, народного суверенитета, классовой теории и т.п.

Критические теории политики основаны на различении репродуцирующего действия в рамках сложившейся политической системы и деятельности, изменяющей саму систему и в силу этого внеположной ей. В ходе такой деятельности частное не всегда дедуцируется к всеобщему, а осознание противоречия теории и практики реализуется путем бунта против существующих стереотипов управления, создания новой политической теории и новой реальности. В качестве предпосылки такого мышления выступил именно либерализм, легитимировавший законность «частного» в виде свободы индивидуального мышления¹.

¹ Манхейм К. Идеология и утопия. С. 100-101.

Однако позже эта возможность оборачивается против самого либерализма, уже как идеологии господствующего класса. Например, используя парадоксально-критический метаязык, С. Жижек пишет: «Либерализм... *натурализует* основания для подчинения [власти] во внутренней психологической структуре субъекта... парадокс в том, что “либеральные” субъекты в известном смысле наименее свободны: они изменяют мнение о себе самих, принимая то, что навязывается им как порождение их «природы», – они даже перестают сознавать, что подчиняются»¹. То есть либеральная модель господства и политического доминирования предстает в таких разоблачениях как наиболее эффективная и тоталитарная, так как в ее логике политический субъект воспринимает интроецированный приказ как собственное решение, а свобода переходит в свою противоположность, в зависимость субъекта от необходимости демонстрировать свою свободу и спонтанность.

Следуя своим «внутренним велениям», «свободе выбора», «истинной природе», «спонтанным желаниям», «творческим позывам», либеральный субъект даже не осознает, насколько глубока его зависимость, воспринимая ее действительно как апелляцию к своей свободе, идентичности, правам и т.п. Более того, обретение своей субъектности связано здесь с невозможным для тавтологического дискурса ходом: способностью отказа от «своей», но, на самом деле, не-собственной, прескриптивной свободы, права, идентичности, идеологии и т.д. То есть действительно подлинный выбор связан не с «выбором в очерченных идеологических координатах», а с «выбором самих координат», непредсказуемостью выбора, сломом «объективностей».

Главным легитимирующим концептом критического метаязыка является апология освобождения. Иногда освобождение представляется как реализация идей социальной справедливости. Освобождение человека трактуется как приобретение независимости от всевозможных импульсов и обусловленностей интересами власти, закрепощающей его свободу, например, как освобождение «жизненного мира» от всепроникающих импульсов «системы», от тотализи-

¹ Жижек С. Указ. соч.

рующей структуры коммуникативных систем (Ю. Хабермас). С этической точки зрения власть предстает здесь в негативном ключе, как принцип Зла. В превращенном виде критический метаязык основан на религиозной идее спасения, переинтерпретированной Просвещением в рамках автономного секулярного политического поля в идею свободы (эмансипации), которая связана уже с вполне посюсторонними общественными интересами, ценностями и институтами.

В условиях «развитого капитализма» оказалось, что проект Просвещения вовсе не так гуманен и справедлив, как казалось в условиях монополии Буржуазии на политические истины, как единственного значимого политического субъекта. Поэтому главной задачей идеологических антагонистов буржуазии становится восстановление психической, языковой, социальной, идеологической целостности вне-властных политических субъектов, преодоление ими самоотчуждения, осознания своих «истинных» интересов и ценностей, от которых они были отвлечены тавтологическим метаязыком политической науки.

Теория познания в критической теории черпается, прежде всего, в различных версиях психоанализа (К.Г. Юнг, Ж. Лакан и др.), структурализма (Р. Барт, К. Леви-Стросс, М. Фуко и др.) и неомарксизма (К. Мангейм, Э. Фромм, Л. Альтюссер, С. Жижек, П. Бурдьё и др.), приобретая иногда и такие причудливые формы, как например, «теология освобождения». Важной составной частью критической теории является традиция тотального маргинального критицизма, идущая от Ницше. Определенную структурирующую роль в оформлении критического метаязыка политической науки сыграли негативная диалектика Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, переходящая из тотальной критики в чистое отрицание Просвещения, породившего тупиковую ветвь культурного развития в виде Капитализма. Основным недостатком негативной диалектики состоял в том, что она не имела «позитивной программы», программы действия. Негативная диалектика не нашла и политического субъекта, который мог бы эту программу действия реализовать.

Фундаментальной аксиомой критической теории является своего рода логика проекта о «золотом веке» в виде сохранения

идеи о возможности исправления и восстановления извращенно реализованного «просветительского проекта» политики. Поэтому каркас принципиальных просветительских идей, сущность Просвещения напрямую критикой не затрагивается. Причем в качестве вариантов «золотого века» может выступать не только «исправленное» Просвещение, но и Античность, «доцивилизационное состояние», концепт культуры а la О. Шпеглер, «советский проект», «евразийские проект» и т.п.

Речь идет лишь о привнесении большей степени справедливости, гуманизма, свободы, демократии и т.п., т.е. о количествах и мерах, не затрагивающих сущность модернизируемого проекта. Основные мыслительные концепты политической науки приобретают творческую вариативность. Актуализируется проблема методологической пропасти между субъективной истиной толкования и объективируемой истиной объяснения, с ее требованиями всеобщности и жесткими критериями верификации или, в негативе, фальсификации.

Критический метаязык политики проявляет и разоблачает «скрываемое» тавтологическим метаязыком положение дел, состоящее в том, что любой политологический метаязык и связанный с ним политический субъект, устанавливаемые как должные, самоочевидные, объективные являются, на самом деле, результатом борьбы метарациональных социальных сил. При этом каждый метаязык есть социально обусловленный язык, который отождествляет себя с политическим мышлением вообще, как только «случайно» теряется его связь с социальным субъектом и историческим контекстом. В качестве примера такого универсального императивного идеологического метаязыка и основного объекта критики выступает, прежде всего, исторический метаязык Буржуазии и капитала¹. Именно этот язык претендует на всеобщность в глобализирующемся мире, игнорируя все «вторичные», т.е. национальные, культурные, религиозные, исторические, различия.

Таким образом, в критической теории политическая истина перестает быть всеобщей даже в перспективе. Это всегда уже **чья-**

¹ Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М., 1983. С. 334-349

то истина. Вообще любая претензия на всеобщность отныне становится подозрительной. Поэтому «критика идеологий», связанная с парадоксальным метаязыком, может быть направлена на выявление общего блага, справедливости в политическом сообществе в целом, но только с точки зрения того или иного социально-политического субъекта, с последующим поиском механизмов социального согласия (консенсуса) по поводу смыслов, лежащих в основании общественных коммуникаций: экономических, этических, правовых.

Одновременно парадоксальный дискурс вскрывает властные (частные и относительные) политические интересы, которые препятствуют установлению общественного согласия, подчиняя себе политические смыслы и коммуникационные каналы их трансляции. Политическая истина в этом ключе может быть достигнута только согласием внутри коммуникативного политического сообщества относительно истины высказываний, которая связана с условием «смысловой определенности языка», достигаемого «трансцендентальным единством интерпретации»¹.

В рамках критического метаязыка доказывается, что любая из общественных функций, связанных с обращением политических символов: обучение, координация, легитимация – несет в себе интегрирующую функцию политической индоктринации. Даже парадигмы политических теорий выступают лишь как производные от идеологий. Поэтому политическое единство общества не может быть идеологическим, поскольку идеология всегда неполна и хотя бы отчасти неистинна, так как связана с социально-классовым интересом, даже если претендует на звание «государственной». Условие достижения подобного единства скорее связано с тем, что могло бы объединить общество в целом, например, некая политическая этика или научный код истины, освобожденный от влияния политической власти.

Пафос политических манифестаций критических исследований состоит в том, что борьба идеологий идет за самый последний

¹ *Соболева М.Е.* Возможна ли метафизика в эпоху постмодерна? К концепции трансцендентального прагматизма Карла Отто Апеля. // Вопросы философии, 2002. № 7. С. 144.

оплот человека – его внутреннюю свободу, то личностное пространство, где человек может стать и оставаться самим собой. Сегодня это личностное пространство все активнее захватывается с помощью различных методик интроекции властных импульсов. Основной задачей выступает разоблачение политической логики власти, обнаружение ее корыстного замысла, той подоплеки, которая скрывается за публичным действием. Т.е. анализ того, благодаря чему политическое действие становится властным и каким образом осуществляется политическое господство.

В этом ключе, например, Р. Барт определяет власть как культурное принуждение, которое гнездится в механизмах социального обмена, проникая повсюду, регулируя и корректируя общественную жизнь с помощью далеких от политики моделей практик. Политика «растворяется» в социальном пространстве, становится не локализуемой и, в то же время, находящейся повсюду, тотальной. Воплощением политики становится не только государство, классы, партии и группы, но также и «мода, расхожие мнения, зрелища, игры, спорт, средства информации, семейные и частные отношения»¹. Соответственно возрастает значимость способов репрезентации политики, ее семантико-символическая составляющая. Растет и значимость метаязыка: господство над видением политики (означающим) признается уже более эффективным, чем господство над самой реальностью (означаемым).

Политика выходит за рамки традиционного политического поля или же, в другой интерпретации, само политическое поле распространяется на культуру в целом. Политика и власть усматривается везде и во всем. Анализ эстетики кино (С. Зонтаг), стилей архитектуры (Э. Канетти о Шпеере), классической литературы (Р. Барт), примитивных обществ (К. Леви-Стросс), медицины, тюрьмы и сумасшедшего дома (М. Фуко) – вдруг оборачивается в то же время и властно – политическим анализом (если не диагнозом) современности.

Соответственно, власть как объект исследования зачастую получает свои ключевые характеристики в далеких от формальной политики сферах и лишь затем, когда требуемый результат уже по-

¹ *Барт. Р. Избранные работы. С. 547.*

лучен, эти оценки, схемы и идеологемы переносятся и захватывают традиционную область политики. Универсальность и повсеместность власти накладывается на уникальное многообразие ее проявлений. Власть интерпретируется как распределение, иерархия, структура, влияние, «отсроченность смерти» (Ж. Бодрийяр), в экономике как капитал, в науке как истина, отождествляемая с объективностью, в религии как вечность (бесконечное), в мифе как чудо и т.д.

В целом, восприятие политического через «критику идеологий» наиболее полно реализуется когнитивистскими, психологическими, социологическими теориями, в которых главную роль играет политический субъект со свойственными ему особенностями восприятия, опыта, наблюдения, логики умозаключений и т.д. Облики власти приобретают междисциплинарную гетерогенность: власть может описываться как коммуникативная стратегия, как различные имманентные своим областям техники управления, как асимметричная модель языка, как доминирование в политическом поле в иерархических, темпоральных, топологических категориях и т.д.

Еще один поворот связан с тем, что любые политические теории и парадигмы перестают быть самооценными и самодостаточными для знания политической истины. Автономизация кода политической науки от реальной политики оказывается недостаточной, а зачастую просто ложной.

Власть анализируется как доминирующий код, стоящий за теориями и парадигмами. Поскольку политическое знание «властно», то оказывается невозможным занять нейтрально-объективную познавательную позицию в политической науке, исходя из которой можно было бы высказывать неангажированные суждения, касающиеся в том числе и самого субъекта высказывания. Утверждения о наличии такой позиции свидетельствуют лишь о том, что весь ее содержательный дискурс будет, в таком случае, ложным от начала до конца. Отождествление с разного рода объективностями и всеобщностями – государством, народом, нацией (национальная идея) является приемом объективизации господствующей идеологии. Однако последняя, обращаясь в «национальный интерес», вовсе не теряет своей ложности и ангажированности в процессе маскировки своего субъекта, своей де-субъективации.

Взаимосвязь систем культурных кодов знания и власти сосредоточивается в «дискурсе» автора, который автору полностью не принадлежит, но который обретает «голос» посредством автора. Таким образом, происходит одновременный процесс «демонизации» власти как чего-то потустороннего, не свойственного или даже противного природе человека, и «дегуманизации» политики, как вычеркивания человека в качестве политического субъекта.

Исключив потребность в конечном субъекте, к которому восходит политика, критический метаязык «рассыпает» феномен власти на ряды коммуникативных актов, только в ходе которых власть как проявляется, так и исчезает. У Э. Канетти и Ж. Бодрийяра власть даже рождается самим состоянием неопределенности, различия и двусмысленности. Определенным и простым, по мнению исследователей, может быть только насилие, но не власть, восходящая в своем пределе к состоянию между жизнью и смертью, к временной, искусственно созданной ситуации отсрочки последней. Инстанция власти живет тем, что шантажирует, угрожает фатальным тому, на кого она направлена.

Парадокс состоит в том, что реальное осуществление приговора, властного приказа, означает, одновременно, и конец страха, и, вместе с ним, конец самого властного шантажа. Поэтому готовность к смерти, присущая героям, фанатикам, террористам, несет радикальное освобождение от власти. Власть можно удостоверить лишь в состоянии разрыва, состоянии неэквивалентности, в других условиях власть не существует. По Ж. Бодрийяру, на этом основана любая форма, любой институт власти: «Церковь живет отсроченной вечностью, государство – отсроченным общественным состоянием, революционные партии – отсроченной революцией, и все они в итоге живут смертью»¹.

Имманентизация и профанизация власти, обнажение критической политической теорией структур политического бытия, в которых запечатлевается власть, направлены именно на демонстрацию не-мыслимости такой позиции, которая смогла бы полностью захватить саму истину сущего политики (власти) в политической

¹ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 57.

науке. Легитимация власти – это лишь набор социально значимых версий, каждая из которых истинна для своего субъекта. Приоритет рациональных концепций политики опровергается именно на основании их ментальной репрессивности, принуждения к всеобщности. Т.е. подобная постановка вопроса, даже если и является близкой истине, в силу методологической установки на тождественное отвергает саму возможность увидеть «иное», истину Другого. Здесь важнее сама установка исследователя на потенциальный полилог, допущение методологического плюрализма как нормальной ситуации познания.

Исторически важное различие тавтологического метаязыка и метаязыка критического состоит в том, что доминирование первого связано с периодами политической стабильности – «малой политикой», когда, собственно, политика является прерогативой и «внутренним делом» властной элиты, а политическая теория направлена на апологию сложившегося политического порядка, в то время как второй получает шанс реализоваться в периоды социально-политических трансформаций, в условиях «большой политики», захватывающей все общество целиком.

В условиях «малой политики» как репродуцирующего политического механизма, направленного на воспроизводство существующего порядка вещей, реален лишь один значимый политический субъект – действующая власть. Здесь область политики и стратегия власти связаны не столько с воспроизводством социально-политической апатии и социальной аномией, «акратизацией» не-властных политических субъектов, сколько с оставлением в политике только структурных субъектов (должностных, ранговых), которые ее и определяют. Т.е. политика становится «закрытой» для масс. Роль «неэлиты» сводится лишь к формальным процедурам одобрения и легитимации уже принятых решений.

«Большая политика», связанная с принципом утопии, реализуется тогда, когда возможно реальное столкновение интересов и перспектив политически значимых субъектов и, соответственно, теоретико-политологических концепций, концептуализирующих, систематизирующих и легитимирующих сознание этих субъектов на ценностном уровне.

В условиях «малой политики» у критического метаязыка отсутствует политический субъект, интересы и перспективу которого он мог бы выражать. Поэтому он может выжить и функционировать лишь в форме социальной критики, в форме поиска потенциального субъекта как альтернативы субъекту власти в ситуации идеологического статус-кво.

Критический метаязык принадлежит политически значимым субъектам в период «большой политики», когда только и возникают действительно оппозиционные власти политические субъекты. В период «малой политики» господствует тавтологический метаязык. Он представляет воспроизводство исторически сложившегося идеологического статус-кво, «естественных» привычек политического мышления. Критический метаязык и его политический субъект в этот период латентны, они вне-Нормы. Критический метаязык характеризуется с точки зрения Нормы как перверсия, патология, «объект умолчания и исключения», «проклятая сторона вещей», взрывающая своей актуализацией властное политическое равновесие. Столкновения политических перспектив в «малой политике» отсутствует, а есть лишь механизм вытеснения «идейно-политической и социальной патологии» как не-Нормы за пределы нормативного политического пространства ценностей.

Основной манипулятивный прием тавтологического метаязыка «малой политики», формой которого выступает позитивизм, заключается в переводе ценностного конфликта, столкновения социальных перспектив в область «голых», т.е. объективных фактов, во внутренний план своей эпистемологической аксиомы. Принятие подобных правил уже является поражением, свидетельствующим об отсутствии ценностного конфликта субъективных перспектив, поскольку спор идет уже не о ценностях, предшествующих и детерминирующих факты, но о самих фактах как «голых», моделях их безусловного и окончательного объяснения. Спор превращается в выяснение отношений Нормы – правильного восприятия объективных фактов и не-Нормы – ложного восприятия и интерпретации очевидных фактов.

Изначальная проблема, состоящая в том, что политические факты всегда являются опосредованными чьим-то видением, цен-

ностями, интересами, просто умалчивается. Принятие политического факта как объективной данности свидетельствует о вольном или невольном априорном согласии всех оппонентов с господствующей политической перспективой, выражаемой тавтологическим метаязыком политики.

В заключение, в качестве актуальной тенденции внутри критического метаязыка можно отметить нарастающую важность выработки «глобального» масштаба критического метаязыка, связанную с кризисом «великих идеологий», догматической интерпретацией политического как идеологического. Транс-идеологизация политики вынесла в центр политического дискурса концепции особенного и различий, своего рода «проклятую сторону вещей», затушевываемую ранее в силу универсальности дискурса идеологии, как бинарного кода: Норма/не-Норма.

Основания глобальной политической критики уже не связаны с политической ситуацией на Западе, Западом как политической нормой и носят многосоставный характер. Их объединение происходит, прежде всего, через сам объект критики, а не в силу сходств этих оснований. Собственно политическая наука в современном виде и возникает как критика идеологии, рефлексия над конфликтующими идеологическими ценностями. Основная проблема, определяющая критический метаязык, заключается не в том, что латентно этические по своей природе рассуждения о «всеобщем благе» происходят в свободном от морали интеллектуальном поле, где эта свобода представляется необходимым условием превращения политологии в позитивную науку.

Проблема в том, что универсальная научная истина может существовать лишь в условиях общепризнанного критерия (шкалы) политических ценностей как таковых. Такая шкала была предложена историческим проектом Просвещения и Модерном и находится сегодня в кризисе, описываемом различными постмодернистскими, глобалистскими, постструктуралистскими парадигмами. Актуальное состояние и мыслительная ситуация политики пост-Модерна связаны с девальвацией универсальной шкалы политических ценностей Просвещения и Модерна.

Внутри исторического периода Просвещения и Модерна бинарные оппозиции политической мысли, предложенные в данной работе, можно обобщить в следующей сводной таблице

Политическая наука	
Акратический метаязык	Энкратический метаязык
Утопия (критика «статус кво»)	Идеология (апология «статус кво»)
Пара-доксальность (противоречивость)	Доксичность (тавтология и)
Ангажированность ученого-наблюдателя	Отстраненность ученого-наблюдателя
Субъективность (сконструированность, вторичность) социальных фактов и теорий	Объективность (естественность) социальных фактов и теорий
Анти-норма (маргинальность)	Норма
«Организмизм» (культуроцентризм)	«Панлогизм»
Ориентация на гуманитарную методологию	Ориентация на естественнонаучную методологию
Диалогичность (коммуникативность)	Монологичность (некоммуникативность)
Холизм (коллективизм)	Индивидуализм
«Реализм»	«Номинализм»
Тотализм	Анархия
Приоритет прошлого-будущего времени	Господство настоящего времени
«Общественный долг»	«Личная выгода»
Конфликтность (классовость) общества	Единство (бесклассовость) гражданского общества

Символический (пост-идеологический) метаязык политической науки

Отправной точкой здесь служит утверждение о том, что концепт Просвещения полностью воплотился в современности в виде последнего тотального культурного стиля – Модерна. Сегодня же постепенно вырисовываются контуры состояния преодоленности Модерна.

С другой стороны, в условиях делегитимации Модерна оказывается неэффективным и недостаточно радикальным критический метаязык, действенный в пределах идеологической политики. Он разбивается об «имплозию» новых политических масс, о пост-демократическое безразличие и индифферентность, в которые вырождаются демократические требования компромисса и толерант-

ности. Кроме того, информационное общество перестает репрезентировать себя в системе координат традиционных идеологических понятий, которыми продолжает оперировать критическая теория. Наконец, с выходом политики в трансидеологическое пространство представления из политического поля исчезают структурировавшие его идеологические антагонисты с их противоречиями по принципиальным вопросам. Поэтому социально-политической критике не на кого опереться. Она просто не находит ни реального социального субъекта опоры, ни конкретного адресата. Политика утрачивает свое реальное измерение, свое означаемое.

Политический метаязык пост-Модерна исходит из аксиомы, что политическая реальность уже трансформировалась, но «вчерашние» теоретические конструкты продолжают неэффективно и ложно описывать ее с позиций идеологического Модерна. Новая теория, призванная охватить в своих категориях актуальную реальность политики, еще не кристаллизовалась, но лишь формируется, т.е. не говорит о сущностях и рецептах, но лишь описывает тенденции, в условиях отсутствия в политической науке доминирующего метаязыка. Причем попытки поставить диагноз эпохе оказываются, как правило, неутешительными, наполненными меланхолично-пессимистическими утверждениями о необратимости и катастрофичности процесса преодоления Модерна.

Если критическая теория еще верила в обратимость такого хода вещей, в новый прорыв к Реальному, то исследователи, прописывающие контуры «New Age», такие как Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, Г. Дебор, Ф. Джемисон и др., наоборот, утверждают предопределенность и окончательность наступления точки невозврата к веку «великих идеологий». Процессы трансидеологизации и виртуализации размывают идеологический стержень политики как зависимость политической теории от порядка Реального. Во-первых, одни и те же понятия начинают использоваться псевдоидеологическими антагонистами, во-вторых, легитимируя власть, они все более становятся «символами веры», оторванными от политической реальности, когда функциональные и процедурные признаки превращаются в ценностные – демократия, рынок, институты избирательного права, свобода выбора и т.д. Все эти тенден-

ции свидетельствует о системном кризисе структуры идеологии как краеугольного камня, лежавшего в основании политической власти в современных национальных государствах.

Наращение «не-естественности» идеологий как усиливающегося зазора между словами и вещами, идеологическим дискурсом и политической реальностью имело важное значение. Недоверие к истинам, которые обосновываются всеобщими тотальными метаповествованиями, роль которых в политике играли «великие идеологии», подорвало, прежде всего, их роль гарантов легитимности данного политического порядка. Как пишет Р. Рорти, «эти метаповествования имеют всегда одну цель — поддержать легитимность определенных форм социального устройства, действительных или воображаемых, и соответствующих им норм поведения (не имеет значения, в обязательной «привязанности» к сообществу или с допущением «отстранения»). Они отличны от нарративов, повествующих об истории формирования отдельных сообществ, дающих представление об их случайности и неустойчивости и предлагающих возможные сценарии их дальнейших, не прогнозируемых с метадискурсивной точностью, трансформаций»¹.

Идеологический, по своей сущности, Модерн пытается выжить, адаптируясь к изменениям, но при этом он перерождается так, что ключевые его ценности вдруг оборачиваются своей противоположностью. Наступает ситуация «послежития», симуляции достижения давно достигнутых целей. Полностью завершенная институционально-нормативная воплощенность либерально-демократических ценностей ведет в данном случае к симуляции, замене целей функциями, когда трансцендируются сами процедуры, технологии и признаки политики Модерна, призванные ее оправдывать: трансцендируется воля народа, освящается процесс голосования, давно достигнутая демократия вновь становится целью, идеалом. Поэтому проблема «свободы для» меняется на проблему «свободы зачем».

Иными словами, политический субъект освобожден. Концепты свободы, прав человека, гражданского общества, частной собст-

¹ Рорти Р. Постмодернистский буржуазный либерализм // ЛОГОС. 1999. № 9. С. 96-104.

венности и т.п. – реализованы. Что еще власть может предложить как свою сверхзадачу, миссию, основание своей легитимности? Предпринимается попытка обоснования свободы как самоцели, как абсолютного и самодостаточного блага. То же происходит с избирательным правом, понятием представительности власти и т.п. Состояние реализованности свободы – «пост-свобода» исчерпывает легитимность дискурса освобождения во всех его референциях: политических, экономических, психологических.

Возникает этическая проблема: что делать со свободой, когда она еще/уже не политический идеал (традиционная теория) и даже не средство, инструмент установления социальной справедливости (критическая теория), а всего лишь бессмысленный член бессмертной бинарной оппозиции: свобода-угнетение, выражающей принцип власти в любых как институциональных, так и мыслительных структурах. Следовательно, восстановление смысла политики логически связано с возрождением принципа угнетения, хотя бы в регистре политического воображаемого, путем его теоретического гипостазирования, материализации «принципа Зла», чем, собственно, и занят сегодня пост-Модернистский Запад, легитимирующий свою политическую истину в глобальном политическом масштабе.

Когда критиковать развитое общество потребления изнутри, как достигшее номинального торжества политической свободы и социальной справедливости, становится уже практически не за что, критическая теория умирает, т.е. становится виртуальной и устремляется вовне, отрываясь от системной рефлексии и анализа собственных социальных условий существования. И здесь, как замечает Н. Плотников: «На смену критике приходит миссионерство»¹. Критическая теория встраивается в господствующий институциональный дискурс политики и уже не может отстраниться от него, т.е. затронуть критикой социальный порядок и политическую власть в целом.

В области политической науки критическая теория была связана с судьбой доминирующей модели политической рациио-

¹ Плотников Н. Критическая теория отдыхает // ЛОГОС. 2001. № 2. С. 76-80.

нальности, лежащей в основе всего «идеологического» политологического проекта. В условиях Модерна трансцендентные основания политической власти были надежно закреплены за концептами разума и истории. Общество интерпретировалось как организованный макросубъект, реально существующая целостная «универсалия», которая организует политические функции и практики. Такая ситуация эффективно описывалась системно-функциональным анализом.

Однако актуальная логика пост-Модерна ставит под вопрос рациональную логику целостности, стабильного функционирования социально-политических механизмов, обеспечиваемую организационной инстанцией Общества (Государства). Идея функционально-холистского единства политического со-Общества, механизмом обеспечения которого служит политическая власть (субъект-элита), уже не кажется столь очевидной. Отсюда растрата ключевого «символического капитала-власти», а именно «права номинации» (термин П. Бурдье), т.е. права «называть вещи своими именами» и принимать окончательные политические решения от своего имени, которым обладало общество-государство и которое скрепляло как концепты политической науки, так и всю структуру социально-политической реальности.

Сначала было поставлено под сомнение право номинации Общества (Государства) как такового, потом составляющих его групп и классов. Так священное право номинации от имени высшей духовной инстанции профаннизировалось в гипотетический условный договор отдельных индивидов. Версия легитимности власти, таким образом, идейно мельчает. Если раньше она выводилась из общественной необходимости, то теперь стала функцией обеспечения индивидуального комфорта. В рамках подобной тенденции имплозия масс, неучастие в политике является вполне закономерным итогом субъективной трансформации для индивида этической политики как долга в политику как индивидуальное право, например, голосовать/не-голосовать.

Роль государства как стержневого субъекта политики разрушается, и, с другой стороны – в процессе глобализации транснационализация политики ведет к переосмыслению и переструктура-

ции привычного политического пространства, оформлявшегося ранее вокруг стержня государственного (национального) интереса.

В содержательном плане символический метаязык политической науки, как это ни парадоксально, наоборот, деуниверсализирует политику. В глобальном политическом контексте, как давно отметил С. Хантингтон¹, цивилизационные противоречия и культурноцентричные политические концепты действительно вышли на первый план, в то время как универсальные идеологические концепты, политические идеи «для всего человечества»: коммунизм, либерализм, демократия, рынок, капитал – отошли в тень.

Выйдя на глобальный уровень, политическое пространство власти трансформируется, резко приобретая конечность, граничность, имманентность. Бесконечный и всеобщий прогресс, так же как и единство целей, – отменяются. Ценностная матрица политики и апологетика власти даются теперь человеку не через идеологическую призму, но через определенную постановку глобальных вопросов, обуславливающую способ их решения в рамках глобального политического пространства: экологический вопрос, энергетическая проблема, проблема перенаселения, проблема голода, разрыв Север-Юг и т.п.

Перспективы парадигмы символического метаязыка политической науки будут формироваться вокруг возможностей, предоставляемых политической теории антагонистом политического метаязыка Просвещения, метаязыком, в основе которого будет лежать возрожденная логика мифа, опирающаяся на принцип и структуру символа. Делегитимация Разума и восстановление на законных политических ролях подавленных и вытесняемых им прежде мыслительных структур вовсе не означает воскрешения архаических структур политического мышления. Миф (нарратив) – это, в первую очередь, метод, способ описания и познания политической действительности, ее закрепления в пространстве представления политической теории.

В рамках символического метаязыка речь идет о том, что актуальный дискурс политики уже не идеологичен. В политическом

¹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // ПОЛИС. 1994. № 1.

дискурсе говорится не о справедливости, свободе, демократии, социальном но, прежде всего, об эффективности, консенсусе, технологии, распределении и других десубъективированных понятиях. Власть исчезает как реальность, как тело, как означаемое. При этом власть уже не нуждается в том, чтобы **что-то делать**, доказывать свою субъектность, свою реальность. Теперь достаточно удостоверить массы в том, что власть вообще **есть**, однако легитимирующая власть логика поступка и решения, взывающая к образам героики, основанной на авторитете и чуде, постепенно отмирает. «Следует, конечно, быть номиналистом: власть – это не некий институт или структура, не какая-то определенная сила, которой некто был бы наделен: это имя, которое дают сложной стратегической ситуации в данном обществе»¹.

Итак, символический метаязык политики связан с разрушением идеологического строя политики. «Модернистские антагонистические противоречия и дистинкции, структурировавшие мышление и поведение человека индустриальной эпохи, утрачивают эпистемологическую определенность и категоричность, растворяясь в новом метаполитическом дискурсе легитимации — дискурсе, легитимирующем все подряд»².

Иными словами, от выстраивания сеток иерархий и структур классификаций, от иерархического принципа дифференциации власть переходит к новому культурному механизму господства — стратегии культурной индифферентности. Тактика знания-власти состоит теперь в том, чтобы **извлекать и выделять** из общего объема культурного хаоса сообщений (знаков) желательное и необходимое. Артикуляция и маркировка желательного осуществляется властью в публичном пространстве политики.

В идейно-теоретическом пространстве политической науки классовое общество целенаправленно трансформируется в массовое, бессубъектное, внутренние границы стираются, наукообразные идеологии уступают место мифогенным мыслительным структу-

¹ Фуко М. Воля к истине. С.193.

² Джохадзе И. Массовое общество и демократический тоталитаризм: свобода без выбора // ЛОГОС. 2001. № 5-6. С. 40.

рам. Если идеологии считали себя выразителями отчетливо стратифицированных социальных групп, то мифы стремятся завоевать общество в целом. Для этого им необходима репрезентация общества как массы, настройка массового сознания «на одну волну». Общество в пространстве политического представления из «таблицы» превращается в «калейдоскоп»: возможно любое сочетание, любые комбинации, нет ни иерархий, ни социальной идиосинкразии.

Вместе с тем нельзя не отметить, что и органическая, и гражданская, и массовая метафоры общества, подчеркивающие его целостность, неделимость, неконфликтность, единство, принадлежат тавтологическому метаязыку. Эти метафоры и системы понятий являются репрезентациями общества с точки зрения элиты, которая не хочет замечать конфликтную природу общества, его классовые противоречия, столкновение интересов и т.п.

«Незамечание» четко очерченного круга социальных носителей той или иной модели политического метаязыка ведет к тому, что пост-модернистский политический метаязык перестает быть идеологическим: он становится анонимным языком. Можно было бы сказать, что это метаязык масс, но современные политические массы не являются полноправными субъектами своего языка. Они не имеют языка в том смысле, что не могут вступать в коммуникацию, в диалог как условие обладания языком. Массы могут только **воспроизводить** язык.

На месте четко стратифицированных исторических, социально-политических общностей, действующих в логике групповых интересов, сохраняющих исторически устойчивое единство образа жизни, взглядов, целей и ценностей («габитус» П. Бурдьё), возникают концепты «гибридной», смешанной идентичности, концепты «среднего слоя», «общества потребления», «информационного общества», «общества двух третей», призванных теоретически маскировать, заговаривать реальный конфликтный характер капиталистического общества. Помимо этого, иррациональные категории – воля, судьба, «срединная земля» претендуют на статус научных категорий, вытесняя уже в свою очередь рациональное как политическое «иное». Манипулятивная риторика, коннотативная семантика, визуальные коды оказываются более эффективными, чем рациональный дискурс убеждения.

Информационное общество создает иррациональную избыточность и интенсификацию обращения политических идей, теорий, символов. Избыточность и скорость оборота культурных символов такова, что человек начинает страдать «ментальным безразличием», душевной апатией, когда никакая критика, никакие призывы уже не задевают и не удивляют. На первый план в символическом метаязыке выходят качества анонимности власти, нелокализуемость, способность добиваться желаемого, не прибегая к внешним формам принуждения (манипуляция), самоуверенность. Таким образом, происходит преодоление субъект-объектных теорий власти: власть не нуждается в материальном носителе, так как она снова только имя, только миф.

Символический метаязык рассматривает не реальность политики, но ее репрезентацию. Ведется анализ историко-генетических символов и смыслов, благодаря которым образуется некое «поле власти». Цель анализа состоит не в установлении природы конечного продукта – власти. Исследовательский интерес направлен на саму технологию производства политического поля, создаваемую ей ткань символов-ссылок, отсылающих друг к другу в своей смысловой расположенности. Структуралистский текст власти, функционирующий как точный слепок реальности, реальность «второго порядка», превращается в «гипертекст», который сам себе служит алиби. Реверсия смысла состоит в том, что «гипертекст» превращается в законодателя реальности, причем потребность в этой реальности становится все слабее. Принцип реальности как принцип содержания, означаемого утрачивает сначала свою фундаментальность, а затем и автономию, статус легитимирующей инстанции любых идеологем. Аппеляция к реальности уже не «последний аргумент». Означающие формы, принцип выражения – приобретают приоритет. Содержание, наоборот, становится подчиненным.

При этом умножение смыслов в расслоившемся постмодернистском дискурсе не ведет к пониманию и умножению содержания. Отсюда растущий зазор между здравым смыслом Просвещения и аналитическим языком «Нового века». Здесь, может быть, впервые осознается как катастрофический тот факт, что развитие современной цивилизации в сторону потребления, информатиза-

ции, глобализации усиливает репрессивный политический нажим на человека вместо желанного освобождения. Иными словами, чем больше культурного содержания: традиций, исторического опыта, национальных идей, языков пытается слиться в нечто интернационально-глобальное, тем больше возникает внутренних границ, умолчаний, ограничений, противоречий и идиосинкразий. Всеобщее освобождение легко превращается в частные подавления, сумма которых только увеличивается, а властный контроль только усиливается. Клинический диагноз этой тенденции дает анализ глобалистского политического метаязыка: его расслоение на «внутренний» и «внешний», двойные стандарты, термины-эвфемизмы, рост иносказательности, множасьи запреты на словоупотребления – «политкорректность» и т.д.

Если критическая теория еще стремится вычлениить в дискурсе политической науки метаязык власти, показать, как он исполняется и становится самим собой, то посткритическая – охлаждает тягу к самому жанру разоблачения. Именно за тягу к разоблачению власти Ж. Бодрийяр¹ упрекает М. Фуко, который, описывая и разоблачая различные дискурсы и практики власти, тем самым ее воскрешает. То есть описание власти как раз и вызывает к ней, магически порождая субъекта власти. Традиционные формы сопротивления власти: диссидентство, критика, политологический анализ, неповиновение – превращаются в информационном обществе в способы и инстанции ее воспроизводства. Но как только заканчивается поток означающих форм, описывающих власть, кончается и сама власть, как исчезает отражение в зеркале, в которое никто не заглядывает. Власть как категория, как имя становится пустым, так как тем самым намеренно прерывается связь имени с референтом. В состоянии Постмодерна терпит крах и психоаналитическая риторика освобождения, восстановления утраченной целостности субъекта и преодоления отчуждения – целей, оформлявших контекст критических теорий как политического дискурса борьбы с властью.

Разрушается и конвенциональный знаковый метаязык, так как перестает существовать базовый договор о значениях и смыс-

¹ Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000.

лах политического дискурса, разделяемый в качестве границ (условий) политической игры всеми идеологическими антагонистами. Значения понятий становятся проблематичными. Полисемия, исторически отражающая борьбу различных политических дискурсов за власть над смыслами, возрастает настолько, что уничтожает сам смысл. Политический язык становится символическим в том смысле, что логика договора меняется на мифологическую логику смежности, метафоричности, вещественности. Контекст детерминирует текст, ситуация – значение и т.д.

Таким образом, здравый смысл уступает место мифу. Конкретное и частное еще может осмысляться рационально и логично. Но как только происходит выход на уровень тенденций, общих картин – ситуация невольно иррационализируется. Сознание неспециалиста неспособно самостоятельно справиться с объемами политической информации, оно ищет и находит логику взаимосвязи событий и их оценки, но эта логика всегда чужая и заимствованная, присвоенная и интроецированная. Власть исходит от метода отбора, власть реализуется как принцип информационного сита. Власть заключается в самом принципе интерпретации. Как только контекст, время, ситуация меняются, то же содержание (денотат) становится искусственным, абсурдным, ложным.

В первую очередь, постидеологическая политика начинает перебирать свои пошатнувшиеся референты: мифологические, религиозные, экономические, сексуальные, политические. Трансцендируя и последовательно разочаровываясь в референтах реального, ни один из которых не смог стать основанием конечной истины, знание-власть, исчерпав их содержание, выходит за пределы реального и начинает присутствовать везде и нигде. То есть любой дискурс потенциально может стать дискурсом власти.

Впервые подобную ситуацию мышления уловил М. Фуко в своем понимании власти: «Под властью, мне кажется, следует понимать прежде всего множественность отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются, и которые конститутивны для ее организации; понимать игру, которая путем беспрерывных битв и столкновений их трансформирует, усиливает и инвертирует; понимать опоры, которые эти отношения силы на-

ходят друг в друге таким образом, что образуется цепь или система, или, напротив, понимать смещения и противоречия, которые их друг от друга обособляют; наконец, под властью следует понимать стратегии, внутри которых эти отношения силы достигают своей действенности, стратегии, общий абрис или же институциональная кристаллизация которых воплощаются в государственных аппаратах, в формулировании закона, в формах социального господства»¹.

Здесь власть если и совпадает с некими референтами полностью, если и представляется субстанционально, то лишь задним числом. Власть исходит отовсюду и проникает везде, так как производится имманентно всеми теми референтами (не только политическими), в пространстве которых ее обнаруживают. По мысли М. Фуко, власть всегда имманентна области своего производства, которое может быть представлено и политикой, и системой образования, и семьей и т.д. Но лишь ретроспективным теоретическим образом власть рефлексивно разделяется на субъект и объект и выносится во внешнее отношение к тем вещам, референтам, **на** которые, а не **посредством** которых она начинает действовать в пространстве научного представления **о власти**. Имманентность власти свидетельствует, что она находится внутри и вокруг нас, а не как нечто целостное объективированное вне нас, что нужно поддерживать или чему нужно сопротивляться. Освобождение власть не побеждает, а угнетение власть не манифестирует. И то, и другое лишь исполняют власть. Политическая или научная революция, социально-экономические скачки, смена парадигмы – это, одновременно, способ производства, освобождения и смены метаязыка политики, связанный с трансформацией ее референтов и дискурсов. Критика власти полезна лишь тем, что она приоткрывает сущность власти, но вместе с тем поддерживает дискурс власти, воскрешая власть в тех референтах, которые власть уже выработала и покинула. Однако только задним числом и возможно целостное развертывание исторического полотна власти. Власти, которой уже нет, по крайней мере, там, где ее ищут.

¹ Фуко М. Воля к знанию. С.192.

Символическая власть уже не нацелена на подавление неподконтрольных ей дискурсов в отличие от классического дискурса власти как управления от имени здравого смысла и рациональных ценностей. Ее стратегия направлена на овладение и включение в собственное символическое пространство истин всех оппозиционных дискурсов, истины «иного» – безумие, секс, язык, маргинальные субкультуры, литература и т.д. Цель состоит в переработке и присвоении знаков «иного» в пространстве дифференциации, перемещении «иного» во внутренний порядок власти, привязке символов «иного» к символам власти.

Альтернативные дискурсы не изолируются, а, наоборот, включаются в поле власти в своих дозированных «иммунных» вариациях, как дополнения к норме, как ее расширение, а не болезнетворная патология, которую нужно уничтожить. В итоге власть перехватывает инициативу и осуществляется уже не в логике запрета, но посредством дискурса пользы, целесообразности, удовольствия.

Политика (власть), исчерпав к концу XX века свою идеологическую форму дискурса, вышла в «трансполитическое», символическое пространство. Это пространство характеризуется, прежде всего, безразличием ко всем тем различиям, размежеваниям и запретам, с помощью которых реализовывались идеологические дискурсы политики. Сформировав либерально-демократическую политическую модель, реализовав свой утопический потенциал, классические идеологии потеряли те различия онтологического и теоретического плана, благодаря которым шло их становление. Принципиальной стала сама идеологическая неразличимость идейных стратегий в рамках сложившегося политического консенсуса, которая привела к кризису идеологического порядка политики: нет запретов, цели достигнуты, противоречия разрешены. Тотальное освобождение разрушило все те цели и запреты, благодаря которым происходила легитимация власти и различение идеологий. Власть освободилась, таким образом, и от освободителей. В идеологическом дискурсе у власти остается даже не игра референтами, а игра только знаками референтов. В угоду политкорректности стираются любые различия, без которых невозможен ни обмен, ни диалог, ни взаимодействие. Знаки, артикули-

рующие политическое пространство, стали плавающими, контекстными, деидеологизированными.

Когда с политического означаемого (реальности) стираются идеологические знаки, оно становится анонимным и с него уже не так просто считывать дискурсы власти, как это делал М. Фуко. Тело (референт), освобожденное от закрепляемых за ним отличий, вместе с тем освобождается и для игры знаков и масок, которые могут быть ему приписаны. Любое определение и любая сущность рискуют оказаться очередной маской, «симулякром». Поэтому общество в состоянии пост-Модерна, несмотря на всю интенсивность своих внешних обновлений, постоянную «смену интерфейса» рискует оказаться в ситуации отмены исторического времени, мифологического застоя.

Власть, организованная средствами символического кода, как никогда раньше способна контролировать процессы общественных изменений, предупреждать собственные альтернативы отрицания, гасить еще не вспыхнувшие возмущения, симулировать «гражданские» резонансы и т.п. В этом и заключается проблема пассивности и бессубъектности «гражданского общества», отрезанного от возможности формулировать для «закрытой» правящей элиты сколь-нибудь значимые политические альтернативы, с которыми власть не может не считаться. С этим же связана и слабость проекта гражданского общества. Людям все меньше «есть что сказать друг другу», в том что касается их общей судьбы. Скрепки интерсубъективного пространства политики в виде гражданского общества, нации, государства, партий, профсоюзов и т.п. – растворяются в подсознании масс и перестают быть реальной силой, значимыми смысловыми ориентирами атомизированной политической реальности.

§ 2. «Лингвистический поворот» политической науки: от идеологии к нарративу

«Лингвистический поворот» обусловлен не внутренней логикой самостоятельного развития политической науки, но общей ситуацией методологического кризиса гуманитарных, общественных наук. Суть этого кризиса заключена в отказе от поиска универсаль-

ной, всеобщей модели метаязыка научного описания и переходе от монопарадигмальности к мультипарадигмальности как нормальному состоянию мышления и ситуации познания в политической науке. Речь идет, фактически, о том, что классическая наука играет только в строгую денотативную языковую игру, где релевантность устанавливается по критерию: истина/ложь. Согласие ученых относительно подобного аксиоматичного кода позволяет ему эффективно функционировать. Однако подобное трансцендентальное согласие оказывается недостаточным, когда речь идет о привилегированности этого языка в отношении других форм языковых игр, где релевантность и правила игры определяются совершенно другими кодами и правилами. В качестве примера можно назвать перформативную (нарративную) языковую игру, релевантность которой определяет код верю/не-верю, прескриптивную (нормативную) – справедливо/несправедливо, властную – эффективно/неэффективно. Классическая научная денотативная игра нелегитимна в других, автономных языковых играх¹.

Когда, в отсутствие привилегированной Нормы, сталкиваются равные антагонистические модели социального конструирования, одинаково «научные» методологические аппараты интерпретации и оценки политики, актуализируется интерес к метаязыку как метаструктуре, с помощью которой можно сравнить сами парадигмы. «Лингвистический поворот» политической науки – это осмысление собственного метаязыка, который до того не был ни объектом, ни методологической проблемой. Он связан с дискредитацией идеологико-утопических схем объяснения политики путем отсылки к тому или иному политическому «реальному» как универсальному.

Методологически «лингвистический поворот» связан с тенденцией перехода политического знания как знаковой системы от идеологической к нарративной форме.

В нарративной модели социальных наук легитимирующий метарассказ, отсылающий к чему-то запредельному, трансцендентному, вытесняет «просто рассказ», когда язык из описывающего и

¹ См. подр.: *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние Постмодерна. С.112.

отсылающего к чему-то вовне себя становится перформативным, самоподтверждающим. Здесь намечается переориентировка проблем и интересов исследователей с «внешнего» на «внутренний» метаязык политической науки, с описания объекта на самоописание субъекта. Вдруг осознается, что метаязык не является нейтральным средством познания реальности, но, наоборот, он политическую реальность конструирует, подчиняясь воле того, кто владеет языком. Производство значений, теорий оказывается, одновременно, и способом производства новой социополитической реальности. Выясняется, что изменить мир проще всего изменив язык его описания.

Прозрачность языка научного описания в позитивистской формализованной картине мира, с которой он полностью совпадал, стала исчезать. Язык стал отслаиваться от этой реальности, как непрозрачное тело, обладающее собственной оптикой, своим углом преломления политической истины. Отсюда проистекает структурный кризис знаково-формализованного метаязыка, где истиной является тождество означающего-означаемого, и открытие жизненного мира политики, который всегда шире границ любой модели метаязыка. Акцент в познании переносится с объекта на субъект: становится интересной не конечная истина о политическом объекте, но то, как он конструируется в представлении. С жесткой сциентистской моделью позитивизма начинает конкурировать антисциентистская герменевтика, с ее контекстуальностью и релятивизмом, связанная с критикой знаковых теоретических систем мышления, автономизацией означающих и т.д.

Доминирующий метаязык политической науки всегда является метаязыком власти, легитимирующей себя через научную истину. Однако исторические принципы построения этого метаязыка весьма подвижны и относительны. Поэтому власть нуждается в контроле за технологией метаязыка своего описания, превращении его в **орудие** властвования.

Нетрудно заметить, что тавтологический, энкратический метаязык сводит денотативную= классическую научную модель языка к властной (технической) модели, где релевантность определяется уже не критерием истина/ложь, а критерием эффектив-

но/неэффективно. Соответственно, критерием истины служит оптимальность. Критический, акратический метаязык, наоборот, исходит из аксиомы, согласно которой социальные науки не могут играть только в денотативную языковую игру, с критерием релевантности истина/ложь. Поскольку социальные, политические факты субъективны, т.е. зависимы от того, как их интерпретирует субъект, то, следовательно, социально-политические науки ведут двойную языковую игру с двойной релевантностью. Вторая игра – прескриптивная, этическая, зависящая от критерия справедливо/несправедливо.

Важнейшей тенденцией эволюции власти в актуальное время является переход от структурной идеологии как основания властных легитимаций, функционировавшего в логике знака, к нарративу, т.е. символическим обоснованиям, которые обращаются, в первую очередь, к средствам языка как такового, языка как означающей системы.

Актуальность «лингвистического поворота» политической науки обусловлена общим поворотом социального знания к языку, когда теоретическая оппозиция сознание-бытие фактически вытесняется парадигмой языка-реальности. Причем меняется сама постановка вопроса: не «что» первично, но «как» взаимодействуют нетождественные друг другу метаязыковые модели и политическая реальность. Язык является частью реальности, а реальность является частью языка, что обуславливает их взаимную детерминацию и возможность изучать одно через другое. Предпочтение при этом, особенно в рамках структуралистского и постструктуралистского подходов, отдается языку, а реальность становится потенциальным текстом. Чтение этого текста с помощью различных исследовательских методов, соответственно, определяет различия в образе реальности, стоящей за ним. С одной стороны, доминирование текста как очевидной и нерушимой целостности подчиняет читателя, с другой – фрагментация (деконструкция) этого текста, обнаружение швов и «белых ниток» связано с оппозицией тексту и скрепляющим его ценностно-методологическим принципам.

Конечные вопросы познания не сводятся ни к классическому примату субъекта, ни к примату объекта. На первый план выходит

даже не проблема истинного соотношения элементов этой бинарной оппозиции, но методологическая сущность языка описания, который опосредует и соотносится с обоими элементами оппозиции. Таким образом, проблема языка описания выходит на первый план, а ее решение предопределяет и образ реальности, и роль познающего субъекта.

Непосредственное обращение к политической реальности, анализу ее форм и структур аналогично неподготовленному чтению. Метаязык, связанный с методом интерпретации, может гораздо ближе подойти к сущности власти, изучая «как» описывается власть в политической теории, помещая эти теории в различные методологические, исторические, социальные контексты.

Иными словами, интересен не сам текст политики, а то, как, кем и с помощью каких средств он пишется или был написан, не окончательный вариант, но черновик. Здесь естественная «чистовая» картина политики вдруг обнаруживает свою «сделанность» с исторического наброска, вариативность которого проступает как тайнопись между строк, контуры, заретушированные властной современностью, ретроспективно переосмыслившей историю в своих интересах.

Соответственно, эффективный акратический метаязык описания опирается на интерпретативные возможности символа, в то время как наиболее эффективной моделью метаязыка власти, предупреждающей ее разоблачение и делегитимацию, выступает знаково-нормативная модель языка. Последняя скрывает свою историчность и онтологические корни путем создания статической, самотождественной картины фиксированного, неподвижного мира, где язык и реальность, сознание и бытие слитны.

Лингвистический парадигмальный поворот связан и с тем, что стало невозможным не учитывать докисического «обыденного» языка публичной политики, образующего своего рода трансцендентальные условия научного метаязыка, который эти условия до определенного времени успешно отбрасывал как несущественные. В основании этой уверенности лежала вера в истину и непогрешимость научных «привычек» мышления, основанных на очевидностях «собственного культурного бытия и мышления». Однако «Ар-

гого обыденного языка заставляет учитывать, что любая процедура прояснения смысла опосредована культурной традицией и предполагает ситуацию «предпонимания», на которой возводится весь корпус человеческого знания»¹.

Актуальный вопрос о структуре и аксиомах господствующего политического метаязыка, дающего ключ к интерпретации фактов в системе политического знания, в политологии отсылает исследователя по сути к другим областям гуманитарного знания. Взаимодействие властных кодов и моделей метаязыка политической науки открывается в историческом онтогенезе политической науки, как области знания о власти и знания-власти.

Открытие собственного бытия языка имело едва ли не самые глубокие последствия для политической науки нашего времени. Это открытие было тесно связано с обнаружением закономерной иррациональности политики (власти) и построением на этой основе политических учений, разделяющих власть как рационализированное управление и власть как стихийный политический процесс, взрывающий порядок обыденного. Такова практика анархизма, терроризма, экстремизма и доминирующего в условиях современных демократий популизма. Новые теоретические направления формировались в процессе поиска новых нерациональных детерминант политического поля, взамен устаревшей установки на рациональность, в таких направлениях политических исследований как политическая психология, изучение и формирование общественного мнения, предвыборные манипуляции, политические мифы и стереотипы, теория политической коммуникации и т.п.

Открытие языковой детерминированности политического сознания, того, что оно не есть изначально «чистая доска», а конструируется как таковое с помощью языка, привело к вытеснению сознания языком, который перестал быть вещью, функцией сознания, превратившись в более фундаментальное понятие, чем сознание, определяемое через Разум. Рационально сконструированные универсальные концепты стали лишь «идеальными типами», т.е. условными формами, в которых наука как

¹ *Соболева М.Е.* Возможна ли метафизика в эпоху постмодерна? С. 145.

лишь один из возможных типов познания интерпретирует для себя политическую реальность.

Последняя попытка создать универсальный рационально-логический метаязык науки предпринималась в начале XX в. представителями логического позитивизма: Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик, Р. Карнап и др. В своих рассуждениях они исходили из того, что существует объективная, непротиворечивая реальность, однако путаница в языке описания приводит к противоречиям в мышлении. Поэтому стоит лишь формализовать непротиворечивую логику языка, правила высказываний, свести все возможные предложения к ряду простых «атомарных фактов» и логических связей, и мы получим идеальный язык, который есть сама истина, сама реальность. Такая модель языка была создана Л. Витгенштейном¹. Но, как оказалось впоследствии, идеальный язык является таковым лишь в узком срезе определенным образом логически и эмпирически интерпретируемой реальности, и этот аспект является не главным и не единственным. Позже и сам Л. Витгенштейн меняет свою точку зрения на язык, считая, что значения «естественного» языка складываются в процессе употребления, а не задаются умозрительно и что «нет значения без контекста», а следовательно, одно и то же высказывание может быть истинным или ложным в зависимости от контекста высказывания, адресата, ситуации и т.п. Поэтому универсальный язык всегда остается искусственным образованием, ограниченным внутренними логическими правилами и определенным образом программирующим реальность.

Таким образом, классический рациональный язык политической науки был разоблачен и во многом дискредитирован как искусственный язык, претендующий на статус образцового естественного языка. Утрата рациональным языком привилегированного положения осмыслялась, с одной стороны, как кризис науки вообще, с другой – как конец целой эпистемы, интегрировавшей в своей структуре все области и формы знания завершившейся эпохи Разума. Язык превратился в ту «символическую сеть», которая прони-

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. Т. 1. М., 1994.

зывает и опосредует любую человеческую деятельность. Язык как основа пространства представления стал бытием, возможно, более реальным, чем сама окружающая физическая действительность.

Оказалось, что между человеком и объективной реальностью существует посредник, отождествляемый с этой реальностью, – язык, в форме мифа, идеологии, нарратива, науки, искусства и т.п. Вот как определяет эту трансформацию Э. Кассирер: «Физическая реальность как бы отдалается по мере того, как растет символическая активность человека... Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы и религиозные ритуалы, что не может ничего знать без вмешательства этого искусственного посредника [т.е. языка]... Разум очень неадекватное обозначение всех форм человеческой культурной жизни во всем ее богатстве и разнообразии. Но все эти формы по сути своей символические формы. И человека, следовательно, наиболее полно можно охарактеризовать как *animal symbolicum*»¹.

В нарративной интерпретации меняется базовая метафора языка. Язык представляется как семантическая сеть, ризома, грибница. Язык описывается как метафорический аналог реальной местности, как топологическая сеть значений и смыслов в пространстве представления. Ориентация в языке здесь аналогична ориентации на местности: знание тропов, чувство правильного пути, интуиция смыслов, тупики и пересечения, ложные круги... Любой теоретический метаязык (науки, религии, мифа, логики) является искусственной сетью, артефактом, выстраиваемым на базе естественного языка, частным случаем всеобщей языковой сети семантических смыслов и значений, связанных друг с другом. Посредством своих внутренних правил сочетания и различия любая из этих сетей воспроизводит сама себя: свою внутреннюю логику, картину мира, связи и представления.

Язык девербализуется. Словесное (вербальное) мышление и коммуникация предстают в таком контексте как актуализация (воспоминание) или, в феноменологической терминологии, «тема-

¹ Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 29-30.

тизация» фрагментов этой сети, как связанных между собой смыслов и значений, их синтаксическое выстраивание, «плетение» рассуждений и предложений по актуальным путеводным нитям смыслов, ассоциаций, значений.

В классической науке здоровый смысл, рассудок, логика должны связывать вербальную рефлексию с реальными референтами, для того чтобы она стала истинной. То есть опрокидывать иерархическую сеть значений на реальное топологическое пространство, соответствие которому является модусом истины. Классическая научная эпистема является в данном случае лишь воспоминанием как применением общепринятых, нормативных языковых генерализаций (категорий, правил сочетания и различения) к частной ситуации, опыту, т.е. к опознанию этого опыта, являясь его классификацией. Но воспоминание и классификация не исчерпывают научное познание.

Что происходит, когда классическая рациональность перестает быть единственно возможным научным критерием соответствия значений и референтов, например, в нерациональном состоянии, которое охватывает огромный круг возможных состояний сознания субъекта, обобщаемых в понятии транс? Трансовое состояние сознания представляет собой альтернативные способы плетения сетей, осуществляемые по другим критериям релевантности. Здесь обнаруживаются исключения, то, что не проходит сквозь вербальную, логическую, рассудочную сеть, отбрасывается как вторичное, несущественное: эмоции, интуиция, алогичность, образность, символика, поэтика, перверсия. Отсюда вырастает «проклятая сторона вещей» классической науки: психоанализ, НЛП, искусство, воображение и т.п.

Транс связан не с логическим языком, словом, рацией, сознанием, но с телом, ощущением, интуицией, уникальным опытом – чем-то невербализуемым. То есть язык слов затрагивает лишь узкий слой реальности, один из видов памяти, подчиняя его культурологически требованиям соответствия уже на бессознательном уровне (классификации, язык, отбор памяти). Доминирующая рационалистическая семантическая сеть языка описания просто накладывает запрет на «иное»: способы запоминания, виды памяти, сочетания и

различия. И транс выступает как способ парадоксализации привычных когнитивных сценариев и стереотипов языкового сознания.

Известно ключевое определение Хайдеггером языка как «дома бытия»¹. Язык, переставший быть вещью, но превратившийся в принцип бытия вообще, являет бытие самому себе, отодвигая в сторону Разум как один из своих частных модусов. Следование языку открывает человеку глубины собственного бытия. Язык, как воронка, затаскивает в суть вещей, увлекая человека с поверхности несобственного отчужденного существования, т.е. состояния, когда язык не принадлежит человеку и не выражает его, но скорее, наоборот, редуцирует к рамкам предзаданных значений, задает само содержание мысли извне, втискивая его в прокрустово ложе нормативно-императивного *homo sapiens*.

Типичный тому пример – «новояз» из романа Д. Оруэлла «1984» как язык, на котором нет соответствующих слов для критики доминирующего политического дискурса. Плоская однозначность слов уподобляет язык машинному коду, в котором господствует чистая функциональность. Сужением рамок мышления, изыманием любой оценочности понятий достигается подчинение сознания тотальной идеологии, заключенной в этом коде. Человек может испытывать смутное недовольство социальным устройством, системой власти, но он не сможет адекватно его выразить на рациональном уровне в связи с отсутствием соответствующих языковых выражений. Подавляемые интересы не способны перейти в открытую оппозицию, потому что потенциальная оппозиция уничтожается даже не в рациональном сознании, но на уровне его изначального структурирования, т.е. на микроуровне языка.

Хайдеггер пишет о том, что изначальный принцип творения заключен в языке, а творение всегда символично и непредсказуемо, его результат недетерминирован². Не любой, но именно символический.

¹ Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. С. 192.

² Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 104; см. также истолкование данной работы Хайдеггера: Лаку-Лабар Ф. Поэтика и политика // Поэтика и политика. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1999. С. 32-36.

ческий язык называется языком истины, поскольку только он способен сделать все сущее необычным, «остранить» его от привычного склада вещей и тем самым назвать его собственным именем, т.е. показать, чем оно является на самом деле. Поэтому политика, как искусство, в возвышенных своих моментах принципиально символична. То есть только символический язык способен открыть истину сущего политики, которая ускользает от классификаторских типов языка, не способствующих «захваченности» (ангажированности) субъекта политическим бытием, как условию его целостного видения, но лишь расчленению бытия как «наличия», классификации суммы вещей.

Делегитимация императивного метаязыка «классической эпистемы» в ходе автономизации гуманитарных наук от естественнонаучных парадигм затронула и политическую науку. Автономизация была связана с переосмыслением и трансформацией метаязыка описания политики. Трактовка истины как правильности, самоочевидности, достоверности представления вещи, введенная в науку Декартом, была подвергнута сомнению современностью. Акцент достоверности смещается с вещи (объект) на представление (субъект). Властность классификаторского метаязыка, исходящего в своем размышлении от объекта, состоит в том, что он подходит к политическому факту с заданным масштабом. Возможность занять привилегированную позицию беспристрастного наблюдателя обусловлена доминирующим метаязыком, устанавливающим нормативные правила познания в политической науке.

Преодоление функциональности властного метаязыка, который уподобляет социальное природному, связано с наложением на него печати неповторимости, когда становится заметным собственное бытие языка, его история, выходящая за пределы утилитарности и функциональности. Соответственно, политические формы и содержание открываются в своей исторической подвижности, обнаруживают свою властную конвенциональность. Язык сам по себе всегда функционально избыточен, неисчерпаем. Но его способность нести какие-то смыслы помимо мыслей и интенций автора считалась в науке пороком. Прямая и недвусмысленная связь мысли и мира являлась в классической науке Нового времени условием

единой картины мира, представляемой как объективная реальность, одинаковая для всех включенных в нее субъектов. Отсюда знаковая модель научного метаязыка: ясного, логичного, прозрачного, с едиными правилами для всех. Взамен максимальной объективированности и обезличенности язык науки получал статус должного языка, идеальной языковой модели, тождественной самой истине.

Отсюда иллюзия Просвещения и энциклопедистов: любое явление, описанное с помощью «научной» модели языка, уже в силу самого подобного факта «описания» не может быть ложным. Поэтому установление истины во многом отождествлялось с помещением изучаемых феноменов в пространство представления, заданное «правильным» языком, который, как рентген, «просвечивает» скрытую суть вещей, выводя их из тени в свет. Сама мысль о возможности такого единого языка социально детерминирована ситуацией единства закрытой элиты, когда политика еще не стала всеобщим достоянием, и отсутствием борьбы значимых политических субъектов, осознания социальных детерминант политических теорий.

Трансформация метаязыка затронула не только политические науки, но и состояние науки как учреждения в целом. Принципиальное место здесь занимает теорема К. Геделя, доказавшая неполноту любых достаточно богатых формализованных систем. Иными словами, язык несводим к логике любой искусственной языковой модели, а жизненный мир к системе, хотя в идеологических и научных целях они могут стремиться к искусственному отождествлению, подвергаться редукции. Здесь контроль формализованной модели метаязыка выдается за контроль над языком вообще.

Таким образом, лишается очевидной легитимности традиционно доминировавший метод получения истины с помощью научных формализаций, являющихся квинтэссенцией знакового принципа научного метаязыка. Он тоже оказывается условным. Принцип фальсификации пришел на смену принципу верификации. Причем дискредитация была осуществлена не извне, но опираясь на собственные средства знаковой модели метаязыка, что особенно символично: «... теорема Геделя говорит, что когда мы хотим формализовать истину, мы не можем это сделать ни на каком данном

этапе. Мы можем лишь гнаться за ней, всегда охватывая ее лишь частично. Таким образом, имеется некоторый акт расширения нашей формальной системы и в этом акте расширения присутствует потенциальная бесконечность».¹

Суть современной смены научной «эпистемы» (М. Фуко) или «парадигмы» (Т. Кун) состоит в своего рода «амнистии» символической модели политического метаязыка. Если легитимность научного знания коренилась со времен Просвещения на культе разоблачения, объяснения и доказательства, сводивших все факты и явления к единым фундаментальным основаниям, то сегодня научное исследование начинается с выбора модели метаязыка, которая предопределяет одну из возможных логик познания политики. Поэтому центрированность лишь на «аналитических знаках» аксиоматического метаязыка, исключающих свою интерпретацию, стало со временем лишь одной из научных логик, ретроспективно обнаружившей свои изъяны идеологического характера, связь с определенными политическими интересами и социально-историческими субъектами. Смена доминирующего дискурса политической науки повлекла за собой трансформацию способов легитимации знания-власти, крен от знаковых к символическим принципам построения политологического метаязыка.

Причем процесс смены парадигмы и принципов метаязыка описания шел параллельно как в гуманитарных, так и в естественных научных сферах. В. Гейзенберг пишет о том, что язык классической физики Ньютона, основанный на эксперименте и аристотелевской логике зашел в тупик, превратившись в частный случай современных физических теорий². Теория относительности, устанавливающая законы макромира, Вселенной, с одной стороны, и квантовая механика, имеющая дело с описанием закономерностей микромира, с другой, – не могут быть адекватно описаны категориями, понятиями, представлениями, выработанными языком клас-

¹ *Паршин А.В.* Размышления над теоремой Геделя // Вопросы философии. 2000. № 6. С. 96.

² *Гейзенберг В.* Язык и реальность в современной физике // Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987. С. 208-226.

сической ньютоновской физики, имевшей дело преимущественно с соразмерным человеку жизненным миром. Поэтому современной физике для объяснения явлений, выходящих за пределы возможного человеческого опыта, «естественных» представлений и ощущений приходится прибегать к выразительным возможностям метафорического, символического языка. Взамен отказа от жестких требований, предъявляемых правилами научного вывода, экспериментальной верификации, непротиворечивости ученые получают возможность более адекватного выражения и объяснения сути физических процессов.

Поэтому методологические аксиомы, которыми руководствуется, с одной стороны, квантовая физика, с другой – постмодернисты, изучающие законы социального мира, фактически совпадают.

Таким образом, преодоление эпистемологического кризиса связано с отказом от доминирования в политической науке энкратического метаязыка, претендовавшего на монополию в области истины при помощи одномерной рациональной легитимации. Переход к многомерной легитимации политического знания был обусловлен появлением множества альтернативных эффективных научных логик и языков. Т.е. содержательно расширилось само понятие «научности».

Ж.-Ф. Лиотар прозорливо подметил важную тенденцию современной науки, заключающуюся в переходе от структуры денотативного описания к нарративу (рассказу)¹. Иными словами, нарастающее недоверие к философии, как «метанауке», подорвало веру в науку, которую она традиционно легитимировала. Но в таком случае научное знание перестает соответствовать традиционно привилегированным критериям «научности», становясь в ряд других дискурсов. Поэтому легитимация современного политического знания и дискурса власти в нем черпается в языковых играх, т.е. формах рассказов, истинность которых полагает сам рассказчик в собственных перформативных высказываниях. Кроме самопола-

¹ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии, 1998, с. 9-12

гающих высказываний-действий ни рассказчику, ни адресату больше не на что опереться. Т.е. основания политического знания-власти переходят в сам метаязык политики, в то время как ранее они онтологически предполагались во «внешнем» мире, к которому отсылал денотативный метаязык, лишь описывающий этот мир.

Перформативные высказывания не имеют значения истины, связанного с означаемым: предметом, явлением, действием, событием, которому оно бы соответствовало. Истина таких высказываний не верифицируема классическим образом, поскольку они не имеют референтов вовне, не соотносимы с какими-либо вещами, но сами по себе двойственны, являясь одновременно и словом, и делом. Перформативы не могут быть оценены в категориях истина/ложь, к ним применимы только оценки типа искренность/неискренность, им верят/не верят, в силу их непроверяемости, недоказуемости/неопровержимости. Согласно А. Н. Паршину, выделение перформативов как класса высказываний является реакцией современной лингвистики на магические функции языка: «... перформативные высказывания суть некое дело, и все эти действия, которые осуществляются в перформативных высказываниях, это реликты ритуальных действий».¹

Язык политики становится символическим, когда в нем открывают глубину и оказывается, что он может сказать больше, нежели говорит, а проговаривает больше, чем требуется субъекту этого языка. Именно таким образом происходит разотождествление политологического кода истины и политического кода власти, заключенного в нем. Метаязык власти попадает под подозрение, когда говорит не то, что он хочет сказать, но что-то помимо этого, т.е. «проговаривается».

Все это, в конечном итоге, приводит к отказу от поиска абсолюта, нормативно-описательного кода истины, который закреплял бы данный порядок политики (власти). Более того, чем ближе интерпретация подходит к открытию абсолюта, тем ближе она к собственному концу. Имея дело с языком, интерпретация работает не с

¹ Паршин А. В. Размышления над теоремой Геделя // Вопросы философии, 2000 №6, с. 97

вещами, но с символами вещей; символами, являющимися, в свою очередь, интерпретацией других символов. Следовательно, отсутствие очевидной жесткой связки означающего с означаемым: а) лишает исследователя рационального основания для выбора той или иной интерпретации в качестве образца, абсолюта для последующих интерпретаций; б) выводит структуру дискурса из языка субъекта. В этом смысле критический пафос постструктурализма направлен вовсе не на установление «правильной», «истинной» интерпретации означаемого, но на саму функцию знака, связанную с сокрытием собственного прескриптивного начала и ослаблением его конституирующей функции – указания на референт. Раскрытие невыявленного содержания знака угрожает системе ценностей (идеологии), заложенной в нем.

В политике, на мифической ее стадии, означаемое и означающее нераздельны. Функционирование культурных знаков отражает в мифическом сознании саму реальность, причем адекватно и непосредственно. Слова и вещи «слитны». Никому в голову не может прийти мысль об их разделении или несовпадении. Поэтому в них, по определению, еще не может быть никакого «истинного» содержания, требующего своего «обнаружения» путем «декодирования», открывающего «конечные смыслы». Лишь гораздо позже стало возможным выпадение означаемых «в осадок» и автономное воспроизводство культуры как «свободной, ассоциативной игры» одних только означающих, оторванных от своих означаемых.

Сегодня происходит своего рода возврат к дорефлексивному принципу дуальности означаемого и означающего. Если ранее рассудочно-онтологическим критерием истины было соответствие означающего означаемому, то постструктурализм отказывается от самого принципа деления на означаемое и означающее. Знак из двусоставного вновь становится односоставным, связь же знаков между собой становится плавающей, цепной. В каждом знаке содержится «след» другого знака и так далее. Т.е. знак становится символичным, а истоки этой символизации уходят в бесконечность. Смысл знаков устанавливается не отсылкой к верифицирующей «очевидности», но самой взаимосвязью и взаимодетерминацией культурных символов. Таким образом, контролируемая

властью иерархия ценностей (значений) разрушается. Все смыслы, истины, утверждения приобретают статус относительности, релятивизируются, в отсутствии первоначала и абсолюта.

Можно с легкостью заметить, что тавтологический метаязык беспроblemен, пока дает исчерпывающее представление о предметах речи. Язык не может быть проблемой, когда он всего лишь орудие, инструмент, вещь. Этот метаязык прозрачен. Он как бы не существует сам по себе, – он лишь средство оформления, выражения мысли. Когда эта прозрачность исчезает, появляется собственное бытие языка – автономный символический мир представления.

Внутренняя несамотождественность символа, его интерпретивно-контекстуальная природа ведет к несовпадению означаемого и означающего. Распад классической эпистемы и соответствующей ей единой модели научного метаязыка на множество вариантов задним числом указывает на тех, в чьих интересах устанавливалась эта модель в качестве всеобщей. Например, по мнению Р. Барта,¹ язык классической литературы заключал в себе интересы класса Буржуазии, сумевшей с его помощью распространить свои ценности на все общество. И лишь становление Пролетариата, как глобального антагонистического класса, выявило идеологические детерминанты и исторически преходящее в данной метаязыковой модели.

Если знаковая структура языка оперирует представлениями, в которых слова отождествляются с вещами и имеют смысл лишь постольку, поскольку что-то отражают, то язык, опирающийся на символы фактически открывает обратный процесс. А именно – независимость символического мира слов от вещного мира, означающих от означаемых, способность первых не только влиять на вторые, но и создавать их. Иными словами, язык оказывается способен творить реальность. Вдруг оказывается, что следовать тождественной логике знака больше не представляется возможным, поскольку означающее, образ никогда не становится абсолютно прозрачным, как бы пропускающим к самой вещи, становясь ею и, тем самым, растворяясь в ней. Взаимность соответствия означаю-

¹ Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М.: 1983, с.326-336

щего и означаемого становится проблематичной. Их тождество уступает место различию, усматриваемому в жесткой соотносительности означаемого-означающего в знаке власть структуры, стоящей по ту сторону знака и легитимирующей его в качестве такового.

Здесь следует отметить, что классическая европейская мыслительная традиция вообще центрирована на логосе, т.е. имеет дело только с тем и наделяет статусом реальности только то, что можно выразить с помощью слов. Но слова конвенциональны и абстрактны, так как являются результатом соглашения людей с общим культурным опытом и исторической картиной мира. Культурные предпосылки и аксиоматичная структура научного языка здесь априорны. Однако смысл слов всегда опирается и на слабо вербализируемую общность культурных переживаний. Отсюда прорастает корень непонимания разных культур, даже если они пытаются говорить на одном языке, который содержательно всегда привязан к историческому образу мира той или иной культуры. И тем не менее, невыразимое вербально-логически вызывает у европейцев подозрение в шарлатанстве, поскольку мысль, последовательно излагаемая с помощью слов, классифицирующих реальность, полностью совпадает для них с языком. Причем язык имеет характер предельной реальности, даже когда речь идет о мистическом откровении.

Культурно-историческая специфичность такого подхода осознавалась в Европе через опыт «другого», альтернативный Восток, интерпретируемый К.-Г. Юнгом как «европейское бессознательное». Переворачивание традиционных европейских бинарных оппозиций: рация–душа, логос–миф, схоластика–мистика, эмпирика–откровение, космос–хаос и т.д., приводит к закономерному самокритичному выводу: «Мы считаем знанием лишь то, что даос назвал бы условным, конвенциональным знанием: мы не чувствуем, что знаем нечто, до тех пор, пока не можем определить это в словах или в какой-нибудь другой традиционной знаковой системе, – например, в математических или музыкальных символах.»¹

¹ Уотс А. В. Путь дзен. К.: София Ltd., 1993, с. 26

В дзен-буддизме констатируется, что слова способны выразить лишь «общие места», что-то банальное и поверхностное. Высшим же формам опыта приписывается внеязыковой характер. Они постигаются в обход логоса, с помощью неязыковых техник, ведущих к просветлению, трактуемому как взрыв, скачок из ложного пространства обыденного языка в абсолюта, нирвану, отрицающую бесконечную цепь перерождений. Передача такого предельного опыта осуществляется через парадоксы, ломающие заданную логику здравого смысла и представленные традицией коанов – описанием случаев и ситуаций, разрешить которые можно только путем преодоления собственно человеческих стереотипов мышления.¹ Предельно символизированные коаны имеют множество возможных решений, но никогда окончательного, единственно правильного.

Следуя логике западной культуры, мы не можем выйти за пределы языка ни с помощью трансцендентальной феноменологической редукции, с одной стороны, ни с помощью трансцендентных теорий божественного языка – с другой. Наконец, с третьей стороны, существует практика присвоения и контроля языка в рамках аналитической философской традиции логического позитивизма, с помощью попыток фиксации точных значений понятий. Критерием при этом может выступать как обыденный язык (традиция), так и абстрактные системы значений, присваивающие понятиям тот или иной заданный смысл. В обоих случаях язык сводится к модели, будь ее происхождение просторечным (естественным) или философским (искусственным), контроль которой выдается за контроль над языком вообще. На наш взгляд, ни один из перечисленных подходов не может выйти за пределы языка и тем самым помыслить его целиком извне. Язык существует до сознания, которое при своем возникновении уже имеет языковой характер, и чье взаимодействие с миром также опосредовано языком.

Самосознание и рефлексия немыслимы вне языка, структура которого предопределяет их формы и содержания. Человек, прихо-

¹ Мумонкан. «Застава без ворот». Сорок восемь классических коанов дзен с комментариями Р. Х. Блайса. СПб: Евразия, 2000

дящий в мир, находит уже сложившуюся ситуацию языка. Даже бессознательное, по мысли Лакана, «структурировано как языковая деятельность». Поэтому анализ бессознательного имеет дело не напрямую с психическими, а с соответствующими им языковыми структурами. Власть над человеком в психоанализе традиционно связывается либо с аффектами (природными инстинктами), либо с языком (культурными требованиями). Аффекты сами по себе не могут быть долговечными и нуждаются в постоянной психологической «накачке» с помощью смыслов и эмоциональных конструкций, выражаемых вербально. С другой стороны, рациональное слово, не подкрепленное аффективными символическими ритуалами и логикой вызова, само по себе беззубо, поскольку не затрагивает глубоких бессознательных психических структур, апеллируя лишь к поверхности расчета и здравого смысла. Поэтому лишь символический язык способен интегрировать в структуре символа аффективные и рациональные (культурные) компоненты, оказывая наиболее глубокое и продолжительное властное воздействие на человека в целом, интегрируя естественные и культурные техники господства.

Язык по своей природе обладает субъект-объектной структурой. Язык ассиметрично коммуникативен, поскольку говорение подразумевает наличие слушающего. Без адресата высказывание теряет смысл. Язык всегда устанавливает систему неравного обмена. Субъекты, взаимодействующие в поле речи, занимают неравные диспозиции в иерархии социума. Структура языковых актов отражает структуру реального социума, реальные отношения господства-подчинения, содержащиеся в нем. В силу этого, в языке изначально заложено властное отношение.

Говоря о властном дискурсе языка, необходимо уточнить, что язык может быть использован, с одной стороны, как средство передачи властных сообщений в ходе разнообразных коммуникаций, с другой – в самой структуре языка заложено направляющее воздействие, своего рода властное принуждение:»...в языке, благодаря самой его структуре, заложено фатальное отношение отчуждения. Говорить или тем более рассуждать вовсе не значит вступать в коммуникативный акт (как нередко приходится слышать);

это значит подчинять себе слушающего: весь сплошь язык есть общеобязательная форма принуждения».¹ Помимо авторского содержания любая форма языка: наука, литература, миф – несет в себе ценности, идеологемы, в значительной степени независимые от авторского замысла. Поэтому, независимо от интенций автора, любая модель языка, любой текст обладают собственной логосферой, собственным дискурсом и логикой смысла, т.е. сеткой связанных и иерархизированных между собой значений, пусть даже присутствующих неявно, подразумеваемых.

Вопреки очевидному наблюдению, все-таки не человек овладевает языком, а язык человеком, заключая в пространство значений, смыслов и логик, в которое человек вступает с помощью языка. Прежде чем человек сможет **что-то** сказать, он должен выучить правила языка, связанные с тем, **как именно правильно** выразить свою мысль. Язык заставляет следовать заложенным в нем дискурсам. Знаки языка – это предельные основания любой реальности. Выход за пределы привычной символической логосферы языка предполагает преодоление собственной природы, собственного разума, отрицание очевидности собственного опыта, здравого смысла и т.д. Можно пройти по краю разума, осознать его пределы и границы – это дается нам в опыте безумия². В безумии разум впервые осознает собственные границы и неуниверсальность. Но, в любом случае, даже этот опыт «иного» мы можем помыслить научно лишь с помощью тождественной логики, т.е. логики рации и адекватной ему модели языка.

С одной стороны, язык трансцендентен, язык, как и бог, непознаваем до конца. Поэтому отсутствие внимания к языку как проблеме, а тем более попытки контроля языка, отсылают к инстанции (субъекту), присваивающей и редуцирующей язык к собственной модели языка. С другой стороны, не существует «ничейного» языка, языка «для всех», когда он начинает соотноситься не с

¹ Барт. Р. Лекция // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989, с. 549

² Такая попытка была осуществлена: Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб, 1997

чистым мышлением (логика), но с политической прагматикой, реальным. Язык – это всегда “чей-то” язык, и он всегда интенционален, т.е. направлен на что-то (кого-то), как только перестает быть объектом теории языка.

Успех структурализма как раз являет собой открытие самостоятельного бытия языка, в том числе и через критику господствовавших до 60-х годов позитивистских подходов, связанных с подчинением языка сознанию через представление. Перенесение моделей исследования языка на объекты социально-политических наук позволило увидеть властную языковую реальность, подчиняющую своей символической логосфере и структуре самостоятельное бытие предметов, воспринимаемых теперь не иначе как текст, ключ к которому дает язык. Таким образом, речь о вещах, базировавшаяся на верховенстве разума и тождестве понятий «классической научной логосферы» самим вещам, где научная речь и есть язык разума, сменяется текстом или же «письмом», если следовать терминологии Ж.Деррида, как первичным принципом языка. Вещи, теряющие свою объективность, очевидность и собственное самостоятельное бытие, превращаются здесь в символы самих себя, в означающие «второго порядка», представляющие лишь текст, средство прочесть смысл, лежащий в нем. Т.е., восприятие референта в качестве текста символизирует его или, в иной терминологии, – кодирует. Причем символизация может быть многоступенчатой и уходить в бесконечность к «прото-письму» и «прото-следам» (понятия Ж. Деррида), которые задают общие условия артикуляция всех последующих элементов, их составления и расчленения.

Итак, структура и правила языка обуславливают законы сознания, мышления, представления, априорно группируя и структурируя различные элементы опыта. Речь идет об освобождении означающего от его идеологической вторичности, попытке следовать его собственной логике. И здесь на смену структурам приходит постструктурализм. Основатель структурализма Ф. де Соссюр положил в основание лингвистики теорию знака как соответствия означаемого и означающего с произвольной между ними связью, само наличие которой было аксиоматично. Любой знак, любое слово

подразумевали за собой тождество с некой отражаемой ими реальностью. Постструктурализм же начал с критики подобных жестких структур, утверждая, что язык (культура) может конструироваться как игра одних означающих, оторванных от своих референтов и функционирующих по собственным законам. Причем они не только отражают, но и сами могут порождать реальное, переворачивая схему Соссюра на 180 градусов. Здесь само понятие реальности становится расплывчатым, преодолевая жесткую дуальность сознания и реальности, означающего и означаемого, объективного и субъективного, поскольку представление зачастую может быть более реальным, чем сама объективная реальность, задавать для реального смысл и просто моделировать реальное в символическом пространстве представления.

Таким образом, язык может не только отражать, но и, в свою очередь, конструировать реальность с помощью замены референциального принципа смыслообразования структурным или же, следуя постструктуралистскому принципу интертекстуальности. Самое важное заключается в том, что при переходе от структуралистского видения мира к его постструктуралистской интерпретации ригидные знаки превращаются, по сути своей, в символы с подвижной областью значений, множественностью смысла, способностью к обратимости и смещению своих значений. Если основной задачей структурализма, как общей идеологии и методологии гуманитарного познания, в том числе и в политической науке, была адекватная и абсолютная (в содержательном плане) формализация объективной реальности аналитическими знаками с целью производства конечной истины, то постструктурализм, подорвав веру в способность знака полностью охватить и воплотить реальность, установить единственно возможный принцип связи реальности и языка, тем самым обнаружил проблему поиска новых средств, позволивших бы на новых принципах легитимировать научные истины.

Нарративный метаязык политики не может быть востребован политической наукой, пока политическое знание строится на доминировании тавтологического метаязыка в век «великих идеологий». Актуальный Постмодерн выходит за идеологическое пространство

политики, скрепленное рациональным идеологическим метаязыком. Доминировавшая политическая форма идеологии уступает место перформативу, нарративу, а рациональность как критерий истины – языку. Таким образом, нормативная рациональная картина мира сменяется языковыми мирами, дискурсами, связанными с политическими, классовыми, культурными, религиозными различиями. Разум перестает быть нормативной сущностью человека. Политические истины становятся имманентными и контекстуальными. Закон различия все реже устанавливается по приоритетным ранее идеологическим границам, а власть эффективно легитимируется с помощью языковых игр, средств самого языка. Проблема познавательной альтернативности политологических метаязыков указывает на исчерпание в политической науке подхода, который мы называем знаковым, где уровень рефлексии теоретического метаязыка исследования вообще не попадает под вопрос.

Своего рода «топтанье на месте» позитивистских моделей политической науки связано с очевидной невозможностью, как ранее, свести символ к аналитическому знаку, позволяющему создать тождество системы и жизненного мира. Подобная методология работала лишь в условиях единой картины мира. Сегодня все попытки создания единой картины сводятся по большей части к тому, чтобы, не меняя универсальной бинарной мыслительной структуры, сменить общие имена: марксизм на теорию либеральной демократии, теорию классов на теорию элит и масс, интернационализм на глобализм, дружбу народов на права человека, социализм на гражданское общество, план на рынок и т.п. Однако отсутствие выхода на фундаментальные эпистемологические проблемы политической науки, детерминанты самого политического мышления и его познавательные аксиомы сводит ценность подобной тактики к нулю.

Причины сдвига социально-политических наук к состоянию Постмодерна, где рациональные универсальные критерии становятся нерелевантными, достаточно очевидны. Это крушение стабильной картины мира, задающей единое иерархическое пространство представления через энкратический метаязык. Сначала ее единство обеспечивалось религиозным согласием (до Реформации

и буржуазных революций), потом национальным единством (государство—нация), и, наконец, идеей идеологического единства (либерализм, коммунизм, глобализм).

Методологическое единство политической науки распалось, когда выявилась социальная обусловленность, классовость политической теории и политического мышления (К. Маркс), а затем — историческая относительность истины любой идеологии (К. Мангейм). Политика стала представляться как ряд «жизненных миров» различных общественных групп. Причем метаязык описания этих групп находится в прямой зависимости от диспозиции данной группы внутри политического поля, главным образом, по отношению к власти. Отсюда разница в методах и метаязыках политики. В стабильные времена целостной картины мира господствуют знаковые метаязыки. Они тесно связаны с принципом идеологии, направленным на консервирование и сохранение статус кво. Символические метаязыки, будучи связаны с принципом утопии, с разрывом сущего и должного, напротив, указывают на противоречие статус кво с идеалом, на альтернативность картин мира.

Ясно узнаваемый идеологический субъект политической власти облегчает в случае необходимости сопротивление ей. Власть здесь «играет в открытую» и человеку ясны правила политической игры. Ситуация меняется, когда власть становится символической. Из угрозы, некоего однозначного приказа она превращается во «влияние» и «манипулирование», исходящие из самых разных источников и непосредственно «включающие» индивида в поле власти, непрерывно довлеющее над ним.

Пост-идеологический политический дискурс апеллирует к суженному сознанию человека как представителя политической массы, который «освобождается» от необходимости осмысливать различия идеологических вариантов политики в их ценностном противостоянии. Вместе с ними он перестает видеть и целостные политические картины действительности, предлагаемые антагонистическими идеологическими концептами. Вместо иерархии идеологических ценностей предлагается упрощенная эмоциональная логика мифа, увлекающая своей метонимически-метафорической формой. Политическая действительность из монолитно-

идеологической становится лоскутной, причем эти лоскуты реальностей, историй, идей не «сшиты» между собой. Логика отдельных лоскутов, актуализация их как микромоделей всего «одеяла» как раз и являет собой манипуляционную стратегию управления смысловыми интеракциями. Власти не нужно легитимировать себя в универсальном контексте, контролировать любое значение, так как не нужны вечные и конечные политические истины: нужна истина на час, на один контекст и в определенной точке политического пространства-времени. Отрезвляющее и рефлекслирующее Завтра не наступит никогда, поскольку «тирания настоящего времени» (П. Вирильо) имеет дело лишь с «вечным сегодня», переполненным очередной «повесткой дня», сколь бы содержательно и политически «мелкой» она ни казалась.

Нарративная политика соответствует символической структуре информационного общества. Когда в политическом сознании человека отсутствует единая мера и масштаб оценки, эффективной становится мифологическая логика политического дискурса с ее техникой шизофренизации, гипостазирования, вещественности, контекстуальности. Манипулятивный дискурс, как дискурс власти, перестает употреблять для описания реальности абсолютные, качественные показатели, связанные с непосредственным жизненным миром людей, с реальным. Доводы и легитимность политического, связанные с реальными референтами: доходом, образованием, лечением, трудом, продолжительностью жизни, уровнем производства и смертности заменяются контекстуальными мифологемами-симулякрами: свобода, демократия, рынок, цивилизованность, прогресс, – понятиями утратившими в пост-современности очевидное содержание, четкое означаемое стоящее за ними. Отсюда эффект гипостазирования, когда политическим «универсалиям» умозрительного порядка вдруг приписывается реальное существование, а коннотация начинает превалировать и определять значения.

Трансформируются формы политической коммуникации: «Техника рационального риторического «уговаривания» публики сменяется визуальной суггестией, рекламным «соблазном», что

качественно повышает спрос на символическую политику».¹ Публичная политика не просто демонстрирует нарастание символичности, ведь иррациональные действия тоже осуществляются под символом Разума. Здесь действия сами становятся символами, своего рода «маркерами», суть которых не в них самих, не в их прямом значении, а в том, что они предлагаются в качестве «интерпретативного ключа», т.е. символа с высокой концентрацией смысла, через который предлагается постижение актуальной политической картины мира адресатом. Большую часть политической коммуникации начинает составлять не что иное, как система ценностно-эмоциональных символов-ключей, складывающих целостное видение политического универсума, индивидуальные механизмы декодирования политических сообщений.

Переход от знаковой семантики к семантике символической выражается в том, что политический дискурс отказывается от последовательного развертывания значений, осуществляемого по модели Текста, и приходит к визуализации и синкретичности в трансляции политических смыслов, что резко упрощает политическую картину. Текстовые значения уступают место максимально дискретным образам, которые трудно опровергнуть в силу их визуальной «наглядности» и «очевидности». Символы политического метаязыка, входящие в «символически генерализованный код» власти, одновременно «облегчают» и вместе с тем «приручают» адресата, ставя под свой контроль систему политических коммуникаций.

¹ Поцелуев С. П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // ПОЛИС, 1999, №5, с. 63